



Виктор Розов

Удивление
перед жизнью

ВОСПОМИНАНИЯ

Виктор Сергеевич Розов

Удивление перед жизнью. Воспоминания

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6900736

Розов Виктор Сергеевич. Удивление перед жизнью. Воспоминания : АСТ;

Москва; 2014

ISBN 978-5-17-080186-2

Аннотация

Виктор Розов – один из крупнейших драматургов XX века. С его появлением началась новая театральная эпоха, связанная с именами Анатолия Эфроса и Олега Ефремова, новым периодом Центрального детского театра и возникновением «Современника». Розов – автор более 20 пьес, главный герой которых – молодой человек, поставленный в условия нравственного выбора, продиктованного временем. Его пьесы шли почти во всех театрах страны и сегодня они обретают новую жизнь на многих сценах. По одной из его первых пьес «Вечно живые» был написан сценарий знаменитого на весь мир фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», получившего в 1958 году главный приз Каннского Международного кинофестиваля. *Книга выпущена в рамках празднования 100-летия со дня рождения драматурга Виктора Сергеевича Розова*

Содержание

Вступление	4
Автор пьесы	11
Свобода	33
Готов	35
Я счастливый человек	37
Прикосновение к войне	61
Начало	62
Решение	69
На Бородинском поле	72
Дикая утка	78
Глупость	80
Приговоренный	82
После боя	83
Белая булка и музыка	85
Кусочек сахара	89
Судьба	90
Возвращение к главе «Я счастливый человек»	94
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Виктор Розов

Удивление перед жизнью. Воспоминания

Добрый спутникам моей судьбы

Вступление

Мои встречи с Виктором Розовым

Я познакомился с Виктором Розовым еще во время моих мечтаний о театре. И тогда, и в период своей учебы в ГИТИСе я видел в Центральном детском театре и «Современнике» спектакли по его пьесам. Они были моим первым прикосновением к этому драматургу, первым впечатлением о нем и первым потрясением, которое определило его место в моей творческой судьбе.

Эти спектакли производили очень сильное впечатление тем, что молодых людей, о которых писал, Розов никогда не отделял от большой жизни. В этом и была его новизна взгляда и противоположность школьным пьесам и «пьесам о молодежи» тех лет. Уже в первой пьесе «Ее друзья», которую, прочтя, сразу стали ставить в ЦДТ, было видно, что его интересовали сами молодые люди, их взаимоотношения со

старшим поколением, друг с другом. Потому розовские истории и оказались живыми, честными произведениями. «Ведомственность» ему была абсолютно чужда.

И ранние его пьесы, и те, что видел я – «Неравный бой» и «Перед ужином» в ЦДТ, «Традиционный сбор» в «Современнике» Ефремова, – все это было поразительно честно. И оттого, что игрались они во времена всеобъемлющего официоза, это производило еще большее впечатление. На протяжении всей своей жизни Виктор Сергеевич оставался олицетворением чего-то очень органичного и совершенно независимого. Он абсолютно никогда ни под кого не подлаживался, это было вне его природы. Он говорил все, что думал на самом деле, всегда плыл против течения – и этим самым тоже был новым.

Для меня он был, пожалуй, нравственным ориентиром в творчестве. Когда меня после окончания ГИТИСа назначили главным режиссером в Кировский ТЮЗ, то первая пьеса, которую я ставил, была «В поисках радости» Розова. И у меня не было вообще никаких сомнений, что начинать надо именно с нее – это была моя программа. Когда же я пришел худруком в ЦДТ и меня представляли труппе, я по-розовски сказал, что пришел сюда «в поисках радости». Это его кредо мне было и остается органически близко.

В то время Розов, которого я лично еще не знал, был для меня какой-то невероятной высотой. Помню, в ЦДРИ отмечали его юбилей, и мне нужно было произнести что-то от

театра. Я был в смятении, какое право я имею какие-то слова говорить Розову. Но я что-то произнес, а после он мне очень по-доброму сказал: «Ну, я понял, что Вы ко мне хорошо относитесь». В Викторе Сергеевиче был всепобеждающий юмор, только он мог такое сказать, дистанцию между нами практически сняв.

А потом все его юбилеи проводились уже в нашем театре, в РАМТе – он так хотел. Все-таки здесь он как драматург сформировался, здесь шли десять его пьес, он любил и сцену, и артистов, и зал, и был очень рад бывать здесь. И даже в день 90-летия, когда он был уже очень болен, его все-таки привезли сюда, в бывший Центральный детский, как ему хотелось. Смею надеяться, ему приятно и важно, что его 100-летие отмечается в РАМТе и что мы нашли возможность переиздать к этому юбилею книгу его воспоминаний.

Однажды я ставил его пьесу «Дóма» – одну из последних его работ. Я очень хорошо помню этот спектакль. Он о мальчике, который вернулся из Афганистана. Виктор Сергеевич был далек от ребят, которые в те годы возвращались из Афганистана, но ту болевую точку, ту психологическую катастрофу, которая произошла с ними, и, в частности, с его главным героем, возвратившимся домой и продолжавшим движение навстречу смерти уже в мирное время, он смог нащупать. Это была тема, благодаря которой тот спектакль стал для театра очень важным высказыванием.

После премьеры «Дóма» он пригласил меня с женой к се-

бе домой. Был обед – такой, как полагается. Были его дети – Сергей, Таня, Танин муж Николай. Надежда Варфоломеевна, прекрасная жена Виктора Сергеевича, читала нам свои стихи. Она на каком-то этапе жизни начала вдруг писать стихи, замечательные, органичные. Они были изумительной парой, полюбив друг друга с первого взгляда и через всю жизнь пронеся эту любовь. Меня поражала его семья на протяжении всего времени нашего знакомства. Понятие семьи у него было основательное, не просто привычное и удобное, а настоящее и очень серьезное для него.

Так же основательно подходил он и к своему делу. Когда ставишь или читаешь пьесу Гоголя или Островского, то понимаешь, насколько эти авторы знали, что такое театр. На спектаклях по их драматургии создается впечатление, что сам автор сидит и руководит реакцией зала. Розов наравне с ними умел писать пьесы. Он не просто любил театр, он знал его. Розовские пьесы, иногда внешне традиционные, были взрывоопасные изнутри, такие бури-ураганы. Мне кажется, с годами его пьесы не убывают. Это, по существу, классика. Когда приходит время, классика становится актуальной. Вот и сейчас пьесы Розова, когда-то волновавшие зрителей, снова стали интересовать театры, их вновь стали ставить.

Он писал, конечно, про людей. И не писал однолинейно: правда-неправда, честность-нечестность, открытость-неоткрытость – как это делить на черное-белое? Он писал многогранно, его характеры были интересны, но он знал, на чьей

он стороне. И понимал, что что-то в его пьесе может не понравиться или вызвать определенную реакцию. Но не уступал. Внешне будто бы мягкий, на самом деле он был очень жестким в плане нравственных понятий. Без вызова, без пафоса, но очень определенным. И, кажется, очень совестливым. Он жил, в каком-то смысле держа ответ перед собой. Не перед кем-то, оглядываясь, кто что скажет, а прежде всего перед своей совестью. И он сохранил себя до самого конца. В том числе эту абсолютность и уверенность в том, что он должен жить и действовать только так, как чувствует, и нравится это или не нравится кому-то — совершенно не важно.

На его характер, его отношение к жизни и к людям очень повлияла война. Мне кажется, все в нем оттуда. Война одного человека ломает, другого ожесточает, третьего духовно укрепляет. Это противостояние. И для него война была невероятным испытанием. Но, судя по тому, что он пишет, он не кичится тем, что прошел через войну. Одновременно, мне кажется, его ранение очень отразилось на его индивидуальности, он жил, сохраняя себя в экстремальных обстоятельствах. И всегда каким-то образом находил колоссальное внутреннее мужество оставаться собой и достойно выходить из любой ситуации. Там, где человек взорвется уже в первый раз, он взорвется на четвертый. Это какое-то несогласие изменять себе, пасовать перед чем-то. Он был стойкий такой солдат, стойкий человек, сохранивший себя во всех обстоятельствах благодаря своему уму, своей органике, своему та-

ланту.

Ему везло, безусловно. Не каждому везет встретить женщину, с которой он будет идти по жизни. Повезло ему и учиться у Бабановой. Повезло, что пьесу «Ее друзья» – пьесу неизвестного человека, только что пришедшего с войны – взяли в Центральный детский театр. В том, что позднее Мария Осиповна Кнебель и Константин Язонович Шах-Азизов соединили его с Эфросом – режиссером его жизни. В ЦДТ он встретился и с Олегом Ефремовым. У него была счастливая судьба, но во многом благодаря и ему самому, его цельности, целеустремленности, воле к стремлению оставаться самим собой несмотря ни на что.

Мне кажется, он понимал свой уровень очень хорошо, при этом внутренняя скромность у него была поразительная. Он для меня олицетворяет правильное понятие театрального человека, театрального не внешне, а по сути. Он просто театр любил, как жизнь, а жизнь, как театр.

Он очень любил ездить по Волге. Кострома, Ярославль – это все города его молодости. Однажды в Плесе, где мы отдыхали, его теплоход стоял несколько часов. Я помню, как мы сидели на лавочке у Волги и как ему было там хорошо. Не было ничего в нашем разговоре театрального. Мы сидели и говорили про жизнь.

Память у него потрясающая, память именно художника. И удивительная наблюдательность. В этой книге его воспоминаний множество интереснейших подробностей его жиз-

ни, встреч с людьми. «Талант – это подробность», – говорил Тургенев. Вот и он жил и писал подробно, не поверхностно. И вместе с тем поразительно искренне. В своих воспоминаниях он не притворяется, не смотрит на себя со стороны, просто пишет про свою судьбу. «Удивление перед жизнью» – очень хорошее название для этой книги. Это удивление у него было с самого начала его пути и сохранялось всю его, казалось бы, такую простую, понятную, но невероятно сложную в этой простоте жизнь.

Алексей Бородин

Автор пьесы

Я пишу пьесы. Давно. И много думаю. Думаю о своей работе и, следовательно, о жизни. Тайна творчества меня интересовала с юных лет. Я старался постичь ее, читая великих писателей, и уже тогда заметил – все они говорят о чем-то одном, только в разных выражениях. Но ни Достоевский, ни Стендаль, ни Пушкин, ни Толстой своей тайны мне не открыли. И я понял: не могли. Она была их свойством, которое передать кому-либо невозможно, как немыслимо передать другому цвет своих глаз, тембр голоса или форму пальцев. Но кое о чем я все же догадался.

Начну с трюизма: писателем рождаются. И никакие силы не могут сделать человека таковым, если он не наделен писательским даром. И слово-то какое подходящее: *дар*. Человек не сделал даже минимальных усилий, он получил этот дар при рождении. И если говорить о писательской учебе, то подобное понятие в определенной степени условно. Научить писать пьесы, стихи или прозу нельзя. Сколько бы человек ни тратил усилий на эту учебу, как бы расприлежно ни занимался, какое огромное количество книг ни прочел бы, как бы внимательно ни изучал жизнь во всех ее ипостасях, усилия его не увенчаются успехом. Да, он может «научиться» сочинять пьесы. В конце концов, чтобы сочинить пьесу, достаточно грамотности и некоторых усилий. Но его творения

будут *сочиненными*, а не *рожденными*. Художественные произведения рождаются, а не придумываются, и акт их рождения подобен таинственному акту появления на свет живого существа.

В свое время я прочел у Максима Горького такое замечание (привожу его по памяти, отчего и не беру в кавычки, но смысл передаю точно): молодые люди в возрасте семнадцати – двадцати пяти лет часто больны манией гениальности. Это похоже на мнимую беременность: симптомы те же, а внутри пусто.

Примерно с этих замечаний я начинаю каждый год свои занятия в институте, где веду семинар по драматургии. Делаю я это вступление именно затем, чтобы те из моих студентов, которые не станут драматургами, не огорчились чересчур сильно. Они потом будут работать в литературной сфере – редакторами в издательствах, на радио, в кино или на телевидении, а иные, возможно, вырастут в административно-руководящих деятелей. Пусть, соприкасаясь с писателями, они не вымещают на них свою обиду, возникшую на основе комплекса неполноценности, потому что никакого комплекса и не должно быть. Ни в чем не повинен человек, не рожденный писателем. В конце концов, хороший редактор или хороший руководитель издательства во сто крат лучше и полезнее плохого писателя.

Я сказал: научиться писать пьесы нельзя. Однако я преподаю в Литературном институте, а значит, считаю, что че-

му-то писателю следует учиться, во всяком случае что-то знать. И следующее мое слово я всегда передаю нашему знаменитому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Я читаю вслух басню «Сочинитель и Разбойник». Вкратце она выглядит так: Сочинитель и Разбойник на том свете жарятся в адских котлах. Век от века под Разбойником огонь утихает и наконец гаснет совсем, а под Сочинителем в те же столетия огонь разгорается все жарче и жарче. Сочинитель сетует на это обстоятельство и вопрошает Мегеру: за что такая несправедливость? Разбойник убивал людей, а он?.. И получает весьма вразумительный ответ:

*...И ты ль с Разбойником себя равняешь?
Перед тобой ничто его вина.
По лютости своей и злости
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты... Уже твои давно истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед,
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но разливается, век от веку лютееет...
Не ты ль в обманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И вон опоена твоим ученьем
Там целая страна*

*Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до гибели доведена тобой!*

Басню эту мы обдумываем долго, целое занятие, с тем чтобы она запомнилась на всю жизнь. Приводим примеры, говорим о нравственности, этике, морали и стараемся все эти три понятия – нравственность, этику, мораль – не сваливать в одну кучу. По этике я им советую прочесть книгу Альберта Швейцера «Культура и этика».. О категориях этики и нравственности говорим с точки зрения их вечности, а о морали – как о категории преходящей. Тут нам всем на память приходят слова Пушкина:

*...Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.*

Классики оттого и вечны, что они постигают явления с поразительной точностью.

Я слышал, будто Альберта Эйнштейна на открытие теории относительности натолкнул Достоевский. Даже предполагаю, какое именно место в романе «Братья Карамазовы» могло дать этот толчок. Вот как рассуждает Иван Карамазов в главе «Бунт»: «Но вот, однако, что надо отметить: если Бог есть и он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по Эвклидовой геометрии, а

ум человеческий с понятиями лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или – еще обширнее – все бытие было создано лишь по Эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись где-нибудь в бесконечности».

Своими словами и словами великих писателей, а иногда и ученых я стараюсь довести до самого глубинного сознания студентов, что писать надо только тогда, когда возникает определенное состояние духа, которое потом может озариться и вдохновением. Нельзя писать, когда тебе не пишется. Брюсов советует:

Вперед, мечта, мой верный вол!

Неволей, если не охотой!

Я близ тебя, мой кнут тяжел.

Я сам тружусь, и ты работай!

Этого взгляда на писательскую работу лично я не разделяю, хотя знаю, что какие-то манки надо уметь расставлять, чтобы подманить Синюю птицу. Но уж если не пишется, то мучайся этим обстоятельством непременно, потому что эти-то мучения и есть первые позывные к будущей работе. Если же и мучений нет, лучше займись каким-нибудь обществен-

но полезным делом. Придет мучение – не гони его, начинай. В период мучений хорошо быть одному. Бродить по улицам или за городом. Без цели. И даже просто жить той жизнью, которая тебе по душе. И уметь ждать. В это время могут выскакивать какие-то искорки. Они на мгновение радуют тебя, оживляют надеждой, но, увы, гаснут мгновенно, и твои мучения только усиливаются...

Но вот что-то родилось! В сознании? Возможно. А скорее всего во всем твоём существе. Ум изловил. Я помню, как однажды, когда испытывал пустоту (она-то и есть мучение!), да еще в это же время и болел, брел я от холодного письменного стола к дивану, чтобы прилечь, и только коснулся головой подушки, как в эту самую голову неведомо откуда влетел сюжет сценария «А, Б, В, Г, Д...». В одно мгновенье! Я очутился снова у стола и даже не садясь на стул, а просто внаклонку долго записывал сюжет. Родился эмбрион замысла. И уже мучения погасли, ушли куда-то вглубь. А взамен возникают только сомнения и опасения: смогу ли написать то, что хочу написать? Идет напряженная работа. Но именно работа, а не сам процесс писания. Делаются заготовки.

Вся подготовительная работа каждым человеком производится по-своему, у каждого своя технология «производства», она совершенно индивидуальна, до пустяков. Один ведет записные книжки, другой не ведет. Один пишет утром, другой – вечером, а то и ночью. Один стучит на машинке, другой шуршит шариковой ручкой. Один начинает пье-

су с начала, другой с конца. Но даже в этой подготовительной работе важно знать, что ты придумываешь, а что у тебя выскакивает из головы помимо твоей воли и сознания. Это чрезвычайно важно! Не надо гнать даже что-то, казалось бы, на первую поверку разума несусветное. Возможно, оно-то и есть находка.

Это может показаться парадоксальным, но именно то, что рождается совершенно неожиданно, и есть самое настоящее. Оно возникает порой как результат накопленных знаний, отчего собирание материала играет немаловажную роль, но может проявляться и совершенно спонтанно. Лично я никогда не езжу в так называемые творческие командировки. Мне даже кажутся несколько странными такие выезды, будто где-то можно найти пьесу, словно она валяется в каком-то закутке и твое дело – только найти ее и подобрать. В крайнем случае надо ехать за уточнением. Когда я писал сценарий «А, Б, В, Г, Д...», мой герой попадал на металлургический завод и принимал участие в плавке. Я эту сцену написал, но, опасаясь неточностей, поехал в Днепродзержинск и посмотрел плавку своими глазами. Точность всегда нужна абсолютная, хотя бы для того, чтобы после публикации или постановки пьесы тебя не одолевали письмами и звонками внимательные читатели.

Это совсем не значит, что ты должен быть в плену фактов. Нет, в пьесе часто может происходить такое, чего никогда не бывает в жизни, но в принципе могло бы произойти. В пьесе

«В добрый час!» юноша отказывается идти на экзамен в институт оттого, что увидел, как перед дверью экзаменационной комнаты какая-то девочка, прижав к груди учебник, «не то зубрит, не то молится», а ему все равно, поступит он или нет. Он не хочет стать поперек ее дороги, поворачивается и уходит домой. Знал ли я такой случай? Нет. Мог ли он произойти? Возможно.

Пушкина упрекали: как это, мол, прикованные друг к другу братья-разбойники могли переплыть реку, подобное, дескать, невозможно. А Пушкин ответил просто: мне такой случай рассказывали. Отец Сергей, мучимый страстью, желая подавить ее, отрубает топором себе палец. Толстой знал подобные мучения, но пальца себе не отрубал. И отрубил ли кто, не знаю, не слышал. А достоверность в повести самая что ни на есть реальная. С другой стороны, взятый реальный факт может быть свободно переосмыслен автором в нужную ему сторону и даже изменен.

Приведу один любопытный пример. Иван Карамазов в доказательство права на свое неприятие мира Божьего рассказывает Алеше случай, когда генерал-помещик за малую провинность велел восьмилетнего мальчика раздеть догола, пустить бежать, а вдогонку ему спустил свору собак. «Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!...» В начале рассказа Иван говорит, что эту историю он прочел «в одном из сборников наших «Древностей», в «Архиве», в «Старине», что ли, надо справиться, забыл даже, где про-

чел». Этот рассказ я тоже прочел и не забыл где – в Музее Достоевского, в Москве на улице Достоевского. Этот старый журнал лежит раскрытым именно на этой странице. Все в жизни было так, как рассказал Иван... кроме конца. Собаки догнали ребенка и... не тронули!!! А мать мальчика действительно сошла с ума. Зачем надо было Достоевскому изменить факт? Видимо, для усиления ужаса. Чтоб Алеша мог произнести слово «Расстрелять!». Лично меня в этом факте из журнала больше всего поразило, что собаки лучше человека! Животным несвойственны зверства!

Художественная реальность есть плод воображения, а не вторичная реальность, не отображение жизни, а создание ее. Но об этом скажу позднее.

А теперь о другом. Когда человек читает книгу или смотрит спектакль, он внимательно, а часто и взволнованно следит за ходом действия, знакомится с характерами действующих лиц, оценивает язык произведения и все прочие компоненты пьесы или спектакля. Допустим, ему понравилось. Очень понравилось. Но он не понял (да и необязательно ему надо это понимать!), в чем состояло главное удовольствие: ведь он на протяжении примерно трех часов находился в обществе интересного и даже чрезвычайно интересного собеседника – автора пьесы. Он смотрел «Вишневый сад», и, следовательно, весь вечер с ним разговаривал Антон Павлович Чехов. Лично! С ним! И рассказал ему так много о жизни, о людях, о событиях, о своей тоске по прекрасному, о своих

надеждах. Ах, как много рассказал в этот вечер Антон Павлович!

Зритель смотрит Островского и Тургенева, Шекспира и Шиллера, Гоголя и Бомарше! Изумительна эта маленькая площадка – сцена! С кем только на ней не встретишься, с кем и о чем только не поговоришь! И разговор самый открытый, потому что автор в своих произведениях бывает так искренен, так исповедален, как он может не быть откровенен с самыми ему близкими в жизни людьми – ни с женой, ни с детьми, ни с закадычным другом. Перед автором чистый ровный белый лист бумаги, на нем не спрячешься, на нем пишется только самое искреннее. Малейшая фальшь, ничтожнейшая ошибка обнаруживаются сразу же, явно. Фальшив писатель – и эта фальшь так и бьет с листа. Откровенен – и это с первой строки.

Каков ты, собеседник на три часа спектакля? Интересен ли? Есть ли тебе что сказать? Да еще сразу полному зрительному залу в тысячу человек. Да еще, когда, приглашая афишами на разговор с собой, берешь деньги за входной билет. Страшно!.. Или надо не иметь стыда.

Пьеса состоит из автора. Каков ты?! Весь твой внутренний мир, все твое психофизическое устройство, весь склад твоего мышления – все идет в пьесу. И умение доставать с самого дна души, заметить в себе самые кажущиеся порой невероятными ощущения, ухватить на лету самые неожиданные, ни с чем не сравнимые мысли – для автора дело необходи-

мое. Чем богаче твоя жизнь впечатлениями и переживаниями, восторгами и отчаянием, любовью и ненавистью, тем полнее твоя чернильница, в которую ты потом будешь макать перо. Автору – все благо!

*Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.*

Автор должен жить полной жизнью и бесстрашно. И много знать. Не только для того, как сказал Бальзак, чтобы не писать того, что уже написано. Он должен много знать, чтобы мыслить о явлениях жизни более глубоко и широко. Замечу в скобках: мне могут сказать, что талант и особенно гений порой обходятся и небольшими знаниями. На это я отвечаю словами Константина Сергеевича Станиславского, создавшего свою знаменитую систему: «Мои законы не для гениев, гении сами создают законы».

Много видеть, много читать, беседовать с умными людьми (впрочем, и беседы с глупыми людьми могут иногда подбросить что-нибудь чрезвычайно любопытное), путешествовать. Быть богатым не только эмоциональными ощущениями, но и впечатлениями. И они рождают мысли и нечто большее. Надо хоть в чем-то превосходить зрителя. Однажды я получил совершенно неожиданный комплимент от молодого зрителя, комплимент приятнее любой хвалебной рецензии. После спектакля «Ситуация» ко мне подошла группа молодежи, и

один совсем зелененький-презелененький паренек спросил:

– Вы автор пьесы?

Я настороженно и робко признался. И паренек добавил:

– В первый раз вижу автора умней меня.

Из этой фразы я понял, до какой же степени зрителю обрыдли пьесы, в которых говорится о вещах, всем известных, или, как сказал не помню кто из великих: для зрителя нет ничего скучнее, чем смотреть пьесы, с идеями которых он заранее согласен.

Я прошу извинить, что привел случай с пареньком на спектакле «Ситуация»; сделал я это для того, чтобы похвалить, но главным образом – с целью пояснить мысль: в зрительном зале непременно сидит человек очень умный, очень развитой и крайне требовательный. Он еще в школе читал и Пушкина, и Тургенева, и Островского и всегда будет сравнивать с ними, от этого нам никуда не деться. Зритель может быть снисходительным, но он всегда ожидает чего-то нового, доселе ему неведомого.

В большей или меньшей степени, но автор всегда предлагает вниманию зрителей свою персону, личность автора. Однако предлагает не в те моменты, когда он пуст, когда ему нечего сказать и «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», а только в те мгновения и часы, когда его касается «божественный глагол». Замечу кстати, что автор имеет право предлагать вниманию свою личность, свои субъективные ощущения и потому, что как человек родствен

всему человечеству. И моя любовь, и моя ненависть, и мое отчаяние есть любовь, ненависть и отчаяние всех. Совершенно парадоксален ответ Толстого на вопрос: откуда вы взяли Наташу Ростову? «Наташа Ростова – это я». И это точно. Только надо уметь отыскать в себе подобное и вытащить его на свет Божий.

Пристальное внимание к своему внутреннему миру и развитие своей индивидуальности. Хорошо, когда тебе интересно наедине с самим собой! К личности автора еще следует добавить воспитание мужества, умение быть смелым в обнажении себя и показе явлений, которые ты заметил. Норберт Виннер говорил, что каждая профессия имеет свои особенности. Если горит дом, люди бегут от огня, а пожарный бежит в огонь, в горящий дом. Если же он бежит от огня, он теряет звание пожарного. В приложение к этой мысли Виннера можно сказать: если писатель бежит от того, что видит, что открылось ему, боится это обнародовать, он теряет звание писателя. Недаром на протяжении веков за писателем сохранялось высочайшее звание – «совесть народа». Это мужество требуется и в тех случаях, когда пьеса тобой написана, даже принята театром к постановке, но разные люди – редактор, режиссер, актер – начинают требовать поправок. Тут уж держи ухо востро! И знай край! Мне известен случай, когда пьеса одного драматурга была горячо встречена театром, принята к постановке, но после «доработки» с редактором театр отказался эту пьесу ставить.

Подмечать черты людей, с которыми тебя сводит судьба, видеть жизнь наиболее полно собственными глазами, ездить по стране, по всему свету, чтобы понять, как устроилось человечество на земле в дни твоей жизни и что ты можешь ему предложить для облегчения его существования. Среда, в которой ты живешь. Ну конечно же Горький смог так неповторимо написать образы босяков именно потому, что он жил среди них, они были у него перед глазами. Смотрящий сторонним взглядом так проникновенно не напишет.

Вампилов и Гельман – совершенно разные драматурги, но роднит их то обстоятельство, что один в своих реалистически-таинственных пьесах собственными глазами увидел людей Чулимска или пьяниц-командированных из «Провинциальных анекдотов», а другой, Гельман, сам будучи инженером и секретарем партийной организации, глубоко прочувствовал ситуацию «Премии» и «Обратной связи». И у того и у другого «отверзлись вещие зеницы».

Я бы никогда не написал пьесу «Вечно живые», а потом и сценарий «Летят журавли», если бы сам не побывал на фронте и в госпитале, не видел тех людей. У меня просто смелости не хватило бы. Конечно, материал надо не только знать, но и прочувствовать. Сколько я ни езжу по разным странам, но у меня и в мыслях нет написать пьесу из чужеземной жизни. Я много видел, многое знаю, но не чувствую, что называется, всем сердцем той, чужой жизни. В нашей – многое чувствую, но не все понимаю, отчего тоже о каких-то явлениях

не могу писать.

Но как бы ни была полна жизнь автора всевозможными событиями, как бы глубоко он их ни переживал, сколько бы книг он ни прочел, с какими удивительными людьми ни встречался бы, сколько бы стран мира ни объехал, он все равно не напишет более или менее порядочного произведения, если все это не будет озаряться и преображаться в нечто новое авторским воображением. Оно в равной мере рождает и сказку «Аленький цветочек», и фантастическую повесть «Аэлита», и записки Шерлока Холмса, и рассказ «Каштанка», и пьесу «Бесприданница». Без него все холодно, сухо, скучно. И даже сама жизнь безжизненна. Видимо, творческое воображение и есть тот самый дар; во всяком случае, важнейшая его составная часть. Сколько раз за свою педагогическую практику мне приходилось вести беседы о том, что мало знать жизнь и технологию производства. Список с действительности – в лучшем случае документ, реальная реальность. Плод же воображения, даже если он рожден реальностью, есть новая, иная, художественная реальность.

Еще со школы я был наслышан, что каждый порядочный писатель непременно обязан изучать жизнь. Теперь считаю это глупостью. Писатель должен не изучать жизнь, а жить. Изучать надо только то, что тебе в данный конкретный момент нужно. И изучение твое может ограничиться справкой по телефону. Работая над своей второй пьесой, «Страницы жизни», я стал эту жизнь изучать и попробовал списать глав-

ный персонаж с реального лица. Получилось что-то риторическое и фанерное. А рядом в пьесе действовал выдуманный персонаж. Он-то и оказался живым. Именно о нем меня спрашивали, где я его взял: «Ну точно как в жизни!»

Именно за этого выдуманного персонажа актер Олег Ефремов получил первую премию на смотре молодых актеров Москвы, а актер, игравший центральную фигуру, списанную мною с жизни, с реального лица, не получил ничего. И это я был во всем виноват. Собственно, не я, а та ложная теория, которая вменяла в обязанность автору «изучать жизнь».

Писать более или менее внятно о творческом воображении невозможно. Откуда оно, никто не знает, даже великие писатели и знаменитые ученые. Оно чудо. Но без него не стоит садиться писать.

*И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне.
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне
Излиться наконец свободным проявленьем.
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.*

Так сказал Пушкин.

«Так вокруг него непоправимо тихо, что слышно, как рас-

тет трава», – это заметила Ахматова.

*С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит? —*

пишет об этих минутах Блок.

Именно творческое воображение рождает новое, не слышанное дотоле. Оно – предпосылка к вдохновению, за которым следует откровение. Но такой дар – удел избранных.

Творческое воображение не следует путать со всевозможными выдумками и придумками. Даже ловко придуманная пьеса не есть плод воображения, она – хитрость ума. А творческое воображение освобождает душу и ум от всякого житейского напряжения, делает их открытыми для постижения всей жизни целиком. И ум тут играет только побочную роль. Выскажу даже странную мысль. Ум не должен мешать работе воображения. Ум – чересчур умная штука. Дело писателя – бесхитростное. Ум может быть только тем приспособлением, что в автомашине разогревает и приводит в движение главный мотор. Привел, а сам выключился. Кажется, он называется стартер.

Знаю, читал, что великие писатели в порыве вдохновения, когда воображение диктовало им строки, находились подолгу. У Достоевского иной раз такой порыв кончался конвуль-

сиями эпилептического припадка. Воображение их достигало какой-то титанической силы. Флобер сам был удивлен и сказал, что когда он писал сцену самоубийства Эммы Бовари, то до такой степени почувствовал вкус мышьяка на языке, что его вырвало.

Известно также, что Бальзак, когда во время работы к нему пришел приятель, со слезами бросился к нему на шею с криком: «Она умерла! Она умерла!» – «Кто?» – в ужасе спросил вошедший, думая, что умерла близкая Бальзаку женщина. Но Бальзак, продолжая рыдать, назвал имя только что погибшей героини его романа.

Над вымыслом слезами обольюсь.

Нет, удивительное это дело – воображение!

Приведя классические примеры, я не имею права ссылаться на свой ничтожный опыт, и все же лучшие крупички, которые есть в моих пьесах, возникали именно в сладостные минуты удивительного, особого самочувствия. Они приходили мне в голову помимо разума и воли. Человеку, которому судьба не дарила даже этих крупичек, никогда не почувствовать их аромата, сколько ни рассказывай об этом. Нельзя же объяснить запах левкоя или гвоздики или вкус яблока.

У одного автора это творческое воображение может быть развито очень сильно и доминировать в его работе, возникать буквально из ничего, у другого требует твердой жизнен-

ной опоры и отталкивается от чего-либо замеченного в реальности.

Теперь несколько слов о мировоззрении автора или, как у нас пишут, о его идейности. Я сказал «несколько слов», потому что об этой стороне нашего дела говорится чрезвычайно часто, много и настойчиво. Писать вещи безыдейные – все равно что бессмысленные. Но подразумевать под идеями только политические или социальные идеи также, на мой взгляд, не следует. В серьезной пьесе социальный аспект непременно будет. Но это совсем не значит, что, допустим, комедия Э. Брагинского и Э. Рязанова «С легким паром!» – слабая и бездумная. Идея тогда хороша, когда она не выносится на поверхность открыто декларативно или автор ни с того ни с сего «вскакивает» в какой-либо свой персонаж и начинает говорить за него. Такой прием наивен, он производит унылое впечатление. Идея тогда особо доходчива, когда зритель, просмотрев весь спектакль, как бы сам, в своем уме, рождает ее. Автор словно «навел» зрителя на размышление о ней. Но и тут не может быть абсолютности. В публицистической пьесе все персонажи могут самым открытым образом хоть кричать авторские идеи, но это будет уже именно публицистическая, рассчитанная на сиюминутность, хотя, может быть, и важная пьеса. Такие пьесы пишутся чаще всего на злобу дня, будь эта «злоба» мелочь быта или самая насущная проблема времени.

Но сам вопрос идейности крайне искажается теми кри-

тиками, которые наивно требуют от авторов высокоидейных произведений. Автор не может быть идейным к случаю, к пьесе. Каков он есть, каким сделан всей своей жизнью, как понимает мир во всех его проявлениях, таковым он и явится нам в своем произведении. Нельзя написать пьесу, в которой ты поддержишь чуждую тебе идею. Это будет недозволенная хитрость, она скажется решительно во всей пьесе, в каждой ее сцене. Самое любопытное, что в таких пьесах автор так громко и на каждом шагу кричит о своей идейности, что, во-первых, идея эта тебе надоедает и перестает нравиться, а во-вторых, наводит на мысль, что сам автор не так уж идеен, а просто кликушествует, бьет себя в грудь кулачками, повторяя: «Посмотрите, какой я идейный, какой хороший!» Нет, я уж писал, что на чистом листе бумаги все видно. По заказу идейным не будешь.

И оптимистом тоже. В записных книжках Чехова написано: «Если хочешь стать оптимистом и понять, что такое жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай жизнь сам и вникай». Отличный совет! Кстати, об идее, кажется, у Гольдони очень хорошо сказано: она в пьесе как соль в пище.

Много ли надо соли на целую кастрюлю супа? Всего щепотку. А в иных пьесах чувствуется целая горсть. Плохой повар!

Я коснулся только основ, вернее даже – предпосылок к написанию пьесы, но без этих, на мой взгляд, твердых опор

говорить о чем-либо ином преждевременно.

А теперь о другом. Из личного опыта. Когда пьеса окончена, когда отшумели премьерные страсти, ты становишься точно выпотрошенным.

Пусто! Ты слоняешься из угла в угол, бродишь по улицам, ходишь в кино, в театры, в гости, но нигде не находишь полного удовлетворения или хотя бы покоя. Пустота не покидает тебя и тревожит. И тогда ты хватаешься за первую попавшуюся работу. Она вновь наполняет тебя. Между пьесами я делал инсценировки, переводы с подстрочников и писал главы книги, которую сейчас и предлагаю вниманию читателей.

Главы эти я писал в разные годы, при разном душевном состоянии, и потому в них может не оказаться той стройности повествования, которая чувствуется, когда книга пишется от начала к концу, как говорится, на одном дыхании. Но, может быть, это не такая уж большая беда?

И сейчас, готовя книгу к печати, я почти не стал ни подправлять ее, ни «осовременивать», не стал менять географические названия... Как написалось, так пусть и будет.

И еще: я не отношусь к своим запискам с должной серьезностью, особенно после того, как однажды, когда часть глав этой книги была опубликована в разных журналах, я, лежа в больнице, перечитал Лермонтова и натолкнулся на забавные строчки, не вошедшие в его поэму «Сашка»:

Свои записки ныне пишут все,

*И тот, кто славно жил и умер славно,
И тот, кто кончил жизнь на колесе;
И каждый лжёт, хоть часто слишком явно,
Чтоб выставить себя во всей красе.
Увы! – Дела их, чувства, мненья
Погибнут без следа в волнах забвенья.
Ни модный слог, ни модный фронтиспис
Их не спасет от плесени и крыс.
Но хоть пути предшественников склизки,
И я хочу издать свои записки!*

...После такого путаного предисловия я и начинаю свое путешествие в разные стороны.

Плыви, мой челн, по воле волн...

Свобода

Я беру себе в спутники свободу. Без нее нет автора, без нее или раб, или мошенник.

Что такое для меня свобода? Это те мгновения, в которые я неожиданным образом чувствовал ее всем своим существом, а потом – жизнь со своими обязанностями, долгом, необходимостью. Быть свободным трудно. И совсем не потому, что нельзя. Просто трудно быть свободным. Видимо, оттого, что свобода с детства регламентируется необходимостью и правилами поведения. Носовым платком, которым тебя учат пользоваться, и «здравствуйте» входящим гостям. И знаниями: букв, цифр, знаков нотной линейки, законов Архимеда и перспективы, всем, чем набивают тебе голову с ранних лет и чем ты потом набиваешь ее сам. Довольно давно, выступая в загородном доме отдыха для комсомольского актива Москвы, я открыл для себя, что знания – это груда камней. Для одних она может быть могильным холмом, под которым погребена личность, индивидуальность, для других – высокой горой, на вершине которой стоит человек и далеко видит. Искусство воспитания и образования, по-моему, и должно сводиться к тому, чтобы уметь подбрасывать эти камушки знаний под ноги, а не на голову. Завалить личность знаниями и правилами нетрудно – и пропал человек. Ничего своего он уже не скажет людям, не обогатит человечество,

будет повторять общеизвестное. А суть личности в том, что она видит мир по-своему. Предлагая свое личное видение мира людям, обогащает других. Конечно, без знаний человеческая свобода – звериная свобода, со знаниями – нечто.

Я сказал: «Я беру себе в спутники свободу». Но пойдет ли она со мной? Не раб ли я букв, цифр, понятий? Посмотрю. Путешествуя, буду исследовать сам себя, снимать пробу на свободу.

Сами путешествия уже свобода. Свобода от стереотипа жизни, от бесчисленных телефонных звонков, собраний, заседаний, встреч с людьми, которые тебе неприятны. Свобода от работы. Да, да, это большое счастье знать, что тебе не надо работать. И не тогда, когда ты выходишь на пенсию, когда бросать работу трагично, а когда ты в полной силе и знаешь, что работа будет. А сейчас можно ничего не делать. Путешествуй легко, свободно! Поехали!

Готов

В Вашингтоне на пресс-конференции сухопарый, как восклицательный знак, журналист задает вопрос: «Как вы готовились к поездке в Америку?» Я отвечаю:

– Начал подготовку еще маленьким мальчиком, когда жил в Костроме, впервые прочитал «Кожаный Чулок», «Следопыта», «Тома Сойера», «Гекльберри Финна» и бегал в кино-театр «Пале» смотреть американские фильмы.

Я не только был готов к встрече с Америкой, я ждал ее. Конечно, тогда, да и потом это была пустая мечта, подобно той, которую мы лелеяли с моим другом Кириллом Воскресенским, когда в те же 20-е годы покупали лотерейный билет Осоавиахима с целью выиграть самый крупный выигрыш – кругосветное путешествие. Один на двоих. Не желавшие поехать могли взять стоимость путешествия деньгами: кажется, три или пять тысяч рублей – по нашей тогдашней бедности сумма, равная миллиону или миллиарду, абсолютно все равно.

Но я помню, как мы с Кириллом смеялись над жалкими обывателями, которые берут деньгами путешествие вокруг света. С какими деньгами можно сравнить возможность видеть весь мир! Пешком, на лошадях, в трюме, в товарном вагоне, питаться кореньями, корками – только бы видеть!

Нет, если выиграем, никаких денег! Тянуть жребий, кому

ехать, и все. Один едет, а потом рассказывает другому. Рассказ очевидца-друга – это тоже здорово, во всяком случае подороже этих всяких паршивых денег.

Конечно, ездить надо молодым, «когда так полны все впечатления бытия». В основном человек формируется в детстве, отрочестве, юности, и если детство – это мир сказок и игрушек, отрочество – дворовых игр, то юность – пора любви и путешествий.

Фактически я этот билет выиграл. Но не тогда, а в 1963 году, в год своего пятидесятилетия...

Я счастливый человек

...Тебя, нарядная,

ласкает счастье.

Шекспир. «Ромео и Джульетта»

Я счастливый человек. Я родился в воскресенье, в престольный праздник города Ярославля – Толгин день. Толга – местечко на левом берегу Волги, выше Ярославля. Там был монастырь, он так и назывался – Толжский монастырь. Что означает слово «толга», не знаю. В этом монастыре когда-то было свое чудо – явление иконы Божьей Матери. Вот день явления Толжской Богоматери и был праздником, который назывался Толгин день. Ярославцы с утра уезжали в Толжский монастырь – молиться и на пикники. Мама в этот раз не могла поехать из-за меня – я родился.

Мне повезло уже с самого начала – родиться в праздник. В детстве лет до трех я все время умирал от разных болезней. Совсем умирал, каждый день. Однажды мама принесла меня к врачу, а он, увидев меня, сказал: «Зачем вы несли ко мне ребенка, идите домой, он у вас по дороге умрет». Но меня донесли до дома живым. И я продолжал умирать. Каждый день. К мысли, что я умру, так привыкли, что, кроме маминей сестры тети Лизы, никто и не верил в мое выздоровление. А я выжил. И, как отец Лоренцо в «Ромео и Джульетте»,

могу воскликнуть: «Опять удача!»

В 1918 году в Ярославле вспыхнул белогвардейский мятеж, организованный Савинковым.

Город горел сильно. Сгорел и наш дом, то есть дом, в котором мы жили, сгорел со всем скарбом. У мамы, папы, брата Бориса и меня осталось только то, в чем мы были, когда прятались в подвале от артиллерийского огня. (Если кто-либо заинтересуется, почему отец не воевал, а был с нами в подвале, отвечу: он только что вернулся с войны, и одна рука у него была рассечена саблей.) Родителям вместе с нами удалось бежать из города, захваченного белыми, и мы стали беженцами.

Опять-таки я остался жив! Опять удача!

Попали мы на житье в маленький городок Ветлугу. Деревянные домики, речка, дремучие леса, до железной дороги девяносто верст. Тротуаров нет. Голая, чистая земля, такая ласковая для детских босых ног. Природа... До десяти лет. А потом до девятнадцати – Кострома с ее Волгой, песчаным островом, лодкой, бреднем, лесами. Разве это не счастье – столько лет быть рядом с природой?! Нет, не рядом, а внутри ее. Разве это не везение?!

В Ветлуге нас застал знаменитый голод времен Гражданской войны. Люди ели картофельную шелуху, кору... Но мне опять повезло. Родители снимали квартиру в доме, хозяин которого имел колбасную мастерскую. Мы, мальчишки, впрягались в ворот, который раньше вращали лошади, и

вертели его, прокручивая мясо. Это было увлекательно! А сверх того после работы каждый из нас получал кольцо горячей, багровой конской колбасы. Такой сочной, что, когда, бывало, ткнешь в это кольцо вилкой, брызгал душистый соленый сок.

И я не умер в тот год.

Когда в Костроме я учился в восьмом или седьмом классе, отправлялся от кружка безбожников в деревню объяснять крестьянам, что Бога нет. Это было не нахальство с моей стороны, а детская вера в то, чему тебя учили в школе. Ходил под праздники верст за восемь – двенадцать в любую погоду по бездорожью.

Уже началась коллективизация. Я тогда ровно ничего не смыслил в этих делах. Прочту лекцию о Пасхе, а потом меня запирают до утра в амбаре на большой замок, чтоб не убили.

И не убили. И волки по дороге не съели. А я их видел. Страшно. Очень страшно. Могли съесть. Чего им стоит – мальчишку! Я сжимал в руке перочинный нож. А что им перочинный нож – у них зубы-то какие!

Да, я, пожалуй, должен прерваться и сказать, сколько мне лет.

По паспорту мне восемьдесят шесть лет, но ведь это неправда. Впрочем, астрономически так и будет – восемьдесят шесть. Но разве можно жизнь человека измерять какими-то совершенно абстрактными отрезками времени, как мануфактуру в магазине деревянным зализанным метром?

По-моему, нельзя. Одно дело – столетний кавказец, дитя гор, неба, пастбищ, долин. Что он за эти сто астрономических лет видел, что пережил? Картина перед ним расстилалась довольно ровная. Другое дело, допустим, солдат, прошедший за четыре года Великой Отечественной войны путь от Москвы до Берлина. Солдату-то, может, к концу войны не двадцать пять лет будет, а сто двадцать пять. А тот кавказец по сумме впечатлений и потрясений недалеко ушел от шестнадцатилетнего возраста.

Да, да, жизнь должна измеряться не календарными личками, а суммой впечатлений, полученных человеком от соприкосновения с внешней средой. Эту теорему, на мой взгляд, нетрудно доказать следующим образом.

Ну, во-первых, все, кто пережил минувшую войну, согласятся со мной, что четыре ее года и сейчас нам кажутся целым громадным периодом в нашей жизни, минимум десятилетием, а то и больше. Недаром о ней до сих пор много и говорят и пишут. Возьмите любые четыре нормальных мирных года – разве они соизмеримы с теми четырьмя? Или: кто бывал хотя бы в двухнедельных заграничных поездках, чувствовал, как две недели тянутся долго-долго, куда более месяца или даже трех. Опять-таки сумма впечатлений огромная. Организм живет по-иному. И глаза, и уши, и мозг – все работает с учетверенной нагрузкой.

Военным пребывание на фронте зачислялось в послужной список в двойном размере – два года за год. Но почему, дру-

зья, только военным? А чем же хуже штатские? Разве они не перенесли на своих детских, отроческих или старческих плечах все тяготы военных лет? Перенесли. Дети особенно. И почему только военные годы? А другие из ряда вон выходящие события, когда весь организм работает сверх полной мощности, почему их – год за год? Каждый знает: есть такие мгновения – и всего-то минуты, секунды, а они старят человека. Волосы седеют, руки дрожать начинают, зрение гаснет.



Свято-Введенский Толгский монастырь

Нет, ни метр, ни килограмм, ни кулон к измерению человеческой жизни не приложимы. Сколько же мне на самом деле лет? Сейчас прикину.

Родился я в 1913 году. А в 1914 году, как известно, началась Первая мировая война. Отца сразу же взяли на фронт, мама осталась с двумя малышами, пошла работать в шляп-

ную мастерскую. Нужда, нужда... А ребенку нужны жиры, белки, витамины. Их не хватает, очень не хватает. Кладу два года за год: 1914 – 1918-й.

А с 1918 по 1922 год – Гражданская война с разрухой, холодом и голодом. Я уже писал, что кору ели. Колбаса-то не всегда. Правда, из какой-то фантастической муки пекли пирожки... с кишками. Да, да, мыли кишки, варили, рубили, делали начинку. Неплохо. А потом – знаменитый Ярославский мятеж. Видимо, потрясение от него вселило в меня детские страхи, фобии и сделало лунатиком. Об этом я при случае расскажу. Любопытно. Уже тогда я испытывал многое из того, о чем писал Кафка, а «Превращение» бывало и со мной и именно в детстве, хорошо помню. За год два года справедливо.

1929–1935 годы – коллективизация. Даже хлеб не везде был. А я уже подросток и юноша. Мне много надо было хлеба, а где взять? Щи из воблы – не так уж калорийно. Чечевица без масла. А я в это время на фабрике в три смены, на текстильной, «Искра Октября». Мама выбивалась из сил: чем нас с Борькой накормить? А я уже видел страдания мамы, ее слезы, видел и переживал. Даже есть из-за этого хотелось меньше. Помню, мама вымаливала на базаре картошку, чтоб продали подешевле, жили-то бедно, а торговка издевалась, куражилась. Помню, как я закричал на маму, чтоб не унижалась, и два дня не ел вообще – в знак протеста. В такое время взрослеешь быстрее. Два года за год.

А потом Отечественная. И тут сверх нормы я сделаю себе персональную надбавку – тяжелое ранение и год госпиталя положу за четыре года. Стоит, товарищи, честное слово, стоит, не жадничайте, это справедливо.

Ну, представьте себе: меня, тяжело раненного, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь все текла и текла, и шесть суток я не спал, даже не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..

Госпиталь во Владимире помещался в старой церкви. Меня обмыли, положили на полу в подвале под сводами и накрыли простыней. Я, когда меня мыли, поразился, увидав себя без одежды. Самыми толстыми местами ног и рук были колени и локти, остальное – трубочки костей. Только разбитая нога вздувалась лилово-синей громадой от газовой гангрены, которая подползала уже к животу. Закрыли меня простыней с головой.



Виктор Розов (слева) с матерью Екатериной Ильиничной и братом Борисом

Помню, сестра с железным передним зубом осторожно приподняла с лица простыню, удивилась, что я жив, и как-то застыла с выражением страха, недоумения и сострадания на лице. Я шепнул: «Плохо мое дело, сестра?» Она жалко улыбнулась – тут-то я и увидел ее железный зуб – и от растерянности даже не солгала святой врачебной ложью, а кивнула головой и сказала: «Да».

На операционном столе я был в руках крепкой сидящей женщины с коротко стриженными волосами, в которые сзади

был воткнут подковообразный простой гребень, – тип женщины-партийки двадцатых годов. Она спросила моего согласия отсечь ногу выше колена. Я это согласие дал немедленно, не задумываясь. Никакого расчета у меня не было, никаких острых и сильных эмоций я не испытывал – надо так надо, о чем и говорить! – как не почувствовал я боли во время ранения, а только удивился, что моя нога лежит как-то странно, отброшенная в сторону, голень – перпендикулярно к бедру, и пошевелить ею не в моей власти, сколько ни старайся. Так и тут мне было не то что все равно, но был какой-то ровный покой: ни страха смерти, ни мысли о том, как же я буду без ноги, ни расчета – ничего. Покой. После моего согласия на ампутацию я услышал резкое: «Маску!» – и мне на лицо сестра положила маску с эфиром и хлороформом.

«Считайте!» Я сделал усилие, прижал маску к лицу руками и быстро засчитал: «Раз, два, три...» На счете «шесть» все поплыло. Последнее, что я услышал, – тот же властный женский голос: «Скальпёль!» – с ударением на звуке «е». А затем наступило сладкое блаженство. Больше всего на свете мне хотелось спать, и я наконец-то уснул.



С братом Борисом

Проснулся я в палате коек на четырнадцать, покрытых новыми зелеными плюшевыми одеялами. Была глубокая ночь. Большинство раненых спали. Несколько человек покуривали самокрутки. А в углу на столике стоял патефон, и худенький паренек, попыхивая сигаркой, проигрывал пластинку. По палате тихо-тихо плыла мелодия на тему «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко».

Я успел все это разглядеть, прежде чем бросил любопытствующий взгляд на свои ноги. Может быть, потому, что бо-

ялся сразу бросить этот взгляд. Посмотрел и очень удивился. Под одеялом явственно проступали обе ноги – одна нормальная, а другая громадная. Это, как я понял позднее, от гипса, в который я был упакован до середины живота. Около меня сидела хорошенькая блондинка с милым, добрым лицом. Она, поймав мой взгляд на гипсовую ногу, пояснила:

– Решили подождать ампутировать, может быть, удастся спасти.

– Как вас зовут? – спросил я.

– Мария Ивановна.

– А фамилия?

– Козлова.

Какое дивное совпадение! Мария Ивановна – моя учительница в театральном училище, знаменитая блистательная актриса Мария Ивановна Бабанова, в которую я был влюблен и платонически, и эстетически, и еще черт знает как, впрочем, как все мальчишки нашего курса. А Козлова – ведь это фамилия Надюши, моей любимой девушки, моей безумно любимой, до сумасшествия. Да, да, Бабанова Бабановой, а Наденька – совсем другое, хотя и в одно и то же время.

Вот так, друзья, устроен человек. А я, ей-богу, по натуре совсем не донжуан, спросите кого угодно из моих знакомых, подтвердят.

– Что вы хотите? – спросила доктор с дважды родственным для меня именем, отчеством и фамилией.

– Пить.

Белоснежная фея обрадовалась, быстро налила мне из графина, который стоял у постели на тумбочке, воды, подала и сказала:

– Хороший признак. А есть хотите?

– Хочу.

Мария Ивановна чуть не засмеялась. Глаза ее зажглись, как будто там, внутри нее, кто-то чиркнул спичкой.

– Что бы вы хотели съесть?

Что может хотеть полумертвый солдат, давно вообще ничего не евший? Я полусерьезно сказал:

– Хочу пирожков с мясом... и компота.

Тогда это звучало примерно так, как если бы я вот сегодня, когда пишу эти строчки здесь, в Москве, а за окном двадцать шесть градусов мороза, попросил дать мне тарелку свежей лесной земляники.

Марию Ивановну порадовал мой пробудившийся аппетит, она его также назвала прекрасным признаком. Мы перекинулись с ней еще двумя-тремя короткими фразами, потом она молча посидела у моей койки и, видимо успокоенная, ушла. Я погрузился в долгий, глубокий сон.

Проснулся я, наверно, часов через четырнадцать в светлой, солнечной палате. У койки в белоснежном халате стояла та же Мария Ивановна, но сейчас у нее в руках была литровая банка с домашним компотом и тарелка с румяными продолговатыми пирожками... А?! Это она успела за пробежавшие ночь и утро сварить компот и испечь пирожки. «Что

он Гекубе, что она ему?» Что я – один из миллионов солдат – для измученного ночными дежурствами, потоком раненых, операциями палатного врача? Именно этот ее поступок, это ее необъяснимое внимание ко мне поразили меня чрезвычайно. Не пойму никогда, если буду искать логики.

А теперь маленькое лирико-мистическое отступление, относящееся к этому эпизоду.

Плыви, мой челн, по воле волн...

В 1946 году, когда я жил в келье бывшего Зачатьевского монастыря (Москва, 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, корпус 7, квартира 13, комната 4) и война осталась уже позади, хотя было еще холодно и голодно, я сидел в своей десяти-метровой келье вечером и при свете коптилки что-то кропал. Вошел почтальон и вручил мне письмо. Я распечатал его. В письме был другой конверт, адресованный моему отцу, который умер за два года до этого. Я вскрыл и стал читать.

Письмо оказалось от доктора Марии Ивановны Козловой. Она спрашивала отца обо мне, жив ли я, если жив, то здоров ли, что делаю. Оказывается, папа вел переписку с Марией Ивановной, когда я лежал в госпитале во Владимире, тайно узнавал все подробности моего лечения, и Мария Ивановна ему отвечала. И почему она вспомнила обо мне теперь и написала отцу, так и осталось для меня неизвестным. Я читал письмо и узнавал то, что было скрыто от меня ранее.

И вот здесь началась мистика. Когда я прочел письмо и задумался обо всем минувшем, за стеной в соседней комнате заиграл патефончик и полилась мелодия «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Что это? Я вскочил, смешался. Сделалось не по себе. С какой-то потрясающей ясностью всплыли зеленые плюшевые одеяла, глубокая ночь, покуривающий самокрутку раненый, милое лицо незнакомой женщины у койки... Я быстро вышел в коридор, чтобы рассеять странное чувство. Я шагал по нашему длинному монастырскому коридору, куда выходили двенадцать дверей из комнат-келий, дымил «Беломором» и старался успокоить свое волнение. А патефон за стеной продолжал петь: «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Напиши я подобным образом в пьесе, сказали бы: дешевый прием. А когда это написала сама жизнь – незабываемо! И придает смысл жизни.

А из вас не вылезали черви? Не глисты, а белые небольшие вертялые черви? А у меня из-под гипса на живот густо полезли. Среди ночи. Это было уже в Казани, в госпитале, в бывшем клубе меховщиков на Тукаевской улице, куда меня перевезли из Владимира. Как мне были омерзительны эти белые твари! Я почти кричал. Я думал, что начинаю заживо разлагаться и это могильные черви. Пришел доктор и объяснил: бояться нечего, мухи снесли в рану яички, и вот теперь вывелись черви. Только мне и не хватало высиживать

мух из их яичек! А ведь высидел, вернее – вылежал. Доктор сказал даже, что это полезные черви, они съедают гной. Но я просил поскорей избавить меня от этих полезных существ, и усталый доктор глубокой ночью возился надо мной, обирая с меня зародышей мушиного потомства. Потом эти червячки появились еще раз, но я уже их не боялся и обирал сам. А когда у другого раненого они объявились и парень стал благим матом кричать на всю палату, кричать и приговаривать: «Ой, как мне больно, ой, как больно!» – я рывкнул на него: «Не ври! Противно, но не больно. У меня два раза это было. Не больно, не ври». Что значит личный опыт, великое дело! И, представьте себе, паренек умолк. Устыдился. Он, видимо, понял, что ему не больно, а только страшно.

Госпиталь. Чего только я там не видел, чего только не испытал! Нет, не только мук и страхов. Сколько там было хорошего, радостного, необыкновенного! Даже в палате смертников, где я пролежал целый месяц.

Скверная палата, темная, тесная, сырая, да и окна выходили в кирпичную стену двора-колодца. Может быть, и верно решило начальство госпиталя: чего, мол, им, все равно временные клиенты, оставим лучшие комнаты для выздоравливающих.

Каждый день два-три покойника, но кровати не пустовали ни часу. Вынесут одного – волокут новых. Большинство без сознания, в бреду. Я не бредил, но и не спал, только два-три часа под пантопоном. Слушал чужой бред, чужое хрипе-

ние, зубовный скрежет. Один мальчик, совсем ребенок, лет двенадцати, от силы – четырнадцати, все пел, день и ночь, двое или трое суток. Пел песни одну за другой. Нежно, бархатисто, чисто. Голосок прекрасный, и слух безукоризненный. Пел в бреду. Так и умер, не приходя в сознание. Песенка оборвалась, и что-то растаяло в воздухе. Я ждал, не возобновится ли пение, ждал час, два. Нет. Спросил сестру: что, мальчик умер? Она кивнула. Пел, как поют, наверно, ангелы в небесах. Да он уж и на земле был ангелом. Убежал в партизаны и был убит.

Но я же хотел написать о радостном. Впрочем, и этот мальчик – радость. Я слышал его святой голос.

В этой палате, в этом сером предсмертии, я просил книгу и, установив ее на грудь перед глазами, читал вслух «Пиковую даму», «Дубровского». И, представьте себе, те, кто был в сознании, слушали. Слушали внимательно, серьезно. Там, где есть хотя бы последнее дыхание жизни, она шевелится.

Меня перевели в палату выздоравливающих. Я не умер! Хотя, как я узнал позднее, по дежурству передавали: «Розов сегодня умрет, вы его перенесите туда». Туда!.. По палате ходили слухи, что «там» крысы отъедают носы и уши. Казалось, что уж тебе «там», не все ли равно, когда форма существования белка окончена и он подлежит распаду. Но почему-то было очень страшно знать, что «там» тебе могут отгрызть нос и уши. А вот когда меня перевели в палату выздоравливающих – это была просторная комната на сорок

коек и очень светлая, — в ней уже госпитальная жизнь была ключом. Вперемежку со стонами — хохот, оживленные разговоры, грешные взгляды на молоденьких сестер. Умирали и тут, но реже.

Я лежал на спине. Лежал долго, полгода. За моей головой под окном росло дерево — тополь, кажется. И я закатывал кверху глаза, стараясь по верхушкам увидеть и почувствовать время года, погоду. Когда няня входила в палату и на ее лице горел румянец, я через этот румянец чувствовал мороз, видел снег. Морозный воздух прямо-таки вливался мне в ноздри.

Замечу здесь, пока не забыл, что, когда я примерно через год попал снова в Казань и вошел в эту палату, чтобы навестить знакомых, острый, густой запах гноя так шандарахнул мне в нос, что меня чуть не вырвало.

Выздоровливающий! Нет, не после гриппа или воспаления легких! И не выздоравливающий, а возвращающийся! Возвращающийся к жизни из небытия. Это буйный приток жизненных сил, когда тебе все время весело, когда в голове светлые мысли, когда ползающая по потолку муха приводит в изумление, когда весь мир со всеми его предметами, звуками, запахами воспринимаешь впервые. Очень трудно рассказать об этом ощущении первичного видения жизни. Наверно, так первородно видит ее ребенок, но память не сохраняет нам это первое детское впечатление от мира, оно за гранью. А тут совсем взрослый человек все видит, понимает,

осознает.

Весной меня на носилках вынесли во двор и положили на траву. Я увидел целое небо, забор, цветы, дом, перспективу убегающих вдаль улиц. Если бы вы знали, как все это было прекрасно, гармонично, ярко, бесконечно разнообразно! Прямые линии, изогнутые, круг, угол. Особенно поразила меня красота дома. Куб, на нем коническая крыша, маленькая прямоугольная дымовая труба. Какая гармония! Какой порядок!

В 1959 году я ехал по Волге на сверкающем «Илье Муромце». Моя жена Надя, сын Сережа, брат Александр с женой и я отдыхали – ехали рейсом Москва – Ростов-на-Дону и обратно. В Казани теплоход стоял долго, и я захотел побывать на Тукаевской улице в клубе меховщиков. Мы взяли такси и поехали. Нашли улицу и дом, где я провел почти год жизни. Пыльная улица, некрасивое здание клуба, дрянной дворик. Я ходил по знакомым местам и не видел их прежними глазами. Как же, после отличной московской квартиры, белоснежного «Ильи Муромца», комфортабельной каюты какая-то Тукаевская улица! И я был здоров. А может быть, именно тогда я был здоров, а сейчас хотя и здоровый, но болен? Увы, чаще всего мы видим жизнь не с первородной ясностью, а затуманенным суетой и всякими соображениями взором и не замечаем вечных, всегдашних и всеобщих гармонии и красоты мира.

Нет, хорошо было тогда!

Я писал стихи по два, три, по пять штук в день. Они не сохранились, но вот их обрывки, уцелевшие в памяти:

*Я распят на больничной койке
По воле трех слепых старух.
А за окном на белой тройке
Летит зима, теряя пух.
А мне бы, встав теперь с постели,
Страхнуть болезнь ко всем чертям,
Уйти туда, где стонут ели,
Где вьюга пляшет по полям.*

Или:

*И ты приходишь, вся из света,
Моей единственной во всем,
В том платье, помнишь, из вельвета
С коротким узким рукавом.*

Или:

*Именно в холодную погоду,
В плачущий, растаявший апрель
Гляну через льющуюся воду
В узкую таинственную щель.*

А одно я запомнил надолго и, когда писал пьесу «В поисках радости» – там главный персонаж пьесы Олег Савин пишет стихи, – выдал их за стихи Олега:

*Сегодня за окном туман.
Открою двери и растаю.
Домов верблюжий караван
Куда-то в дымке уплывает.
Дороги шум и улиц гам
Как будто тонут в хлопьях ваты.
И я плыву по облакам
И невесомый, и крылатый.*

Жаль, что я растерял все листочки, любопытно было бы их перечесть. Не как стихи, а как свидетельства выздоровления.

31 декабря, за полчаса до Нового, 1942 года, когда я дремал и сладко перебирал в уме свои прежние новогодние встречи, в темную палату въехала каталка, на которой возят больных на операцию или на перевязку. Каталка на своих резиновых колесиках бесшумно подъехала ко мне, развернулась у койки, встала по правому ее борту, и голос старшей сестры сухо произнес: «Розов, на перевязку».

Почему ночью? Что случилось? Зачем? Я знал, что каждый день мне могли отсечь ногу выше колена, но почему сейчас?

Четыре руки подсунулись под меня, подняли на воздух, переложили на каталку, и я поплыл через палату, вестибюль, коридоры и въехал в операционную. На операционном столе стояли стаканы, закуска, графин с разведенным спиртом. Дверь захлопнулась, и раздался дружный девичий хохот. Я пожаловал на встречу Нового года.

Везет мне! Тысячу раз везет! Такого веселого, озорного, фантастического Нового года я никогда не встречал.

Маленькая, совсем юная татарочка Зоя с персиковым личиком и чернослизовыми глазами, пожилая, добрейшая до последней морщинки на лице Екатерина Ивановна, рослая круглолицая Соня и доктор Фаина Моисеевна. Кстати, Зоя однажды чуть не уморила меня. Когда меня в третий или четвертый раз оперировали, Зое впервые поручили дать маску. От волнения она так расхлобыстнула кран, что эфир с хлороформом хлынул потоком, и меня несколько дней вновь вытаскивали к бытию на этой планете. Что делать! На ком-то надо было тренироваться.

Я читал девушкам стихи, острил, старался быть достойным кавалером этого вечера. Бедные девушки! Видимо, загипсованный, дохленький, я заменял им их кавалеров, унесенных войной в разные стороны. Впрочем, они просто были веселы, и, в конце концов, раз им на долю выпало дежурство в эту новогоднюю ночь, не губить же ее окончательно!

Эти девушки сейчас пожилые дамы, но, я думаю, они тоже помнят лукуллов пир в ночь под сорок второй. А Екатери-

на Ивановна, старшая сестра, умерла, я знаю. Золотой была человек! И откуда такая доброта и приветливость к людям! Нет, ни ум, ни знания, ни чины, ни даже талант никогда не заменят на земле этого поразительного, исцеляющего душу и тело тепла человеческой доброты.

Много было в госпитале странного на взгляд жителя мирных лет.

Привезли новенького, положили напротив меня. Фамилия – Соловей. Ленинградец. У него оторваны обе руки и обе ноги. Парень без передышки кричал благим матом, срывал зубами бинты с култышек рук, требовал, чтобы его отравили. Фамилия-то какая – Соловей! Вот тебе и соловей! Орал и бесновался долго. И в палате начался ропот:

– Заткнись!

– На кой черт нам его подсунули!

– Несите его отсюда!

– В коридор выставьте, уберите к лешему!

Просто лежащий бунт.

И выставили в холодный коридор. Вечером внесли обратно. Тихого, вялого. Он еще два дня негромко упрасивал прикончить его, но потом перестал, смирился.

Может быть, скажете – жестоко гнать из палаты такого, бессердечно? Нет, не то, совсем не то. Это не жестокость, это война. Это люди с особым состоянием души.

Я мог неторопливо и с аппетитом есть манную кашу, а рядом на койке закрывали простыней умершего соседа. Под

простыней обрисовывались его нос, живот, кончики ног. А я ел вкусную сладкую манную кашу. С аппетитом.

Опять скажете: черствость, эгоизм, одеревенение естественных чувств? Нет, не эгоизм, не черствость, не одеревенение. Это сила жизни. Та сила, которая позволяет нежной травке-муравке взламывать асфальт, вылезая на свет Божий. Слава ей, этой силе, слава! Помните, у Толстого: «Как ни старались люди...» Как ни старалась война убить все живое, жизнь лезла во все щели, везде.

Я изучал в госпитале немецкий язык и вел обширную переписку с друзьями. Нет, этот год жизни не был потерянным годом. Никогда, ни одной секунды не надо терять, ожидая завтра. Надо жить сегодня, сию минуту, секунду, мгновение. В этом преодоление страдания и радость бытия. Сей миг!..

А сейчас чуть-чуть о войне.

Прикосновение к войне

Я пишу не о событиях, не о явлениях природы и общества, не о предметах и даже не о людях, а только о своем чувствовании мира, о жизни человеческого духа. Моего духа. Я хочу вспомнить, что я чувствовал в такое-то время, в таком-то случае, при виде этого, при встрече с тем. Я назвал эту главу «Прикосновение к войне», потому что к войне именно только прикоснулся. Я принимал участие всего-навсего в одном бою, был в нем тяжело ранен и сразу же выбыл из войны в собственном ее смысле. Все остальное было только подготовкой к этому бою, а потом – госпиталь и тыл.

Однако даже прикосновение к войне обжигает и оставляет рубцы. Во время войны я получил много новых, удивительно сильных и совершенно неожиданных впечатлений. О них-то и расскажу.

Начало

Мы, актеры Московского театра имени Революции, были на гастролях в Кисловодске... При встрече с Кавказом я тоже испытал сильнейшее и даже необыкновенное чувство и не могу о нем не рассказать.

Театр поехал сначала в Сочи. Было это в конце апреля 1941 года. Душа моя в тот год была истерзана битвой за жизнь. Полуголодное существование (врач в справке так и писал: «Розов В.С. страдает тяжелой формой нервного истощения на почве голодания»), плохое положение в театре – я никак не мог продвинуться дальше актера вспомогательного состава, – а главное, отчаянные нелады в любви. Все было не только серо, тускло, но и беспросветно. У меня над кроватью висел лист бумаги, расчерченный на триста шестьдесят пять квадратиков, и я вечером перед сном раскрашивал каждый квадратик – прожитый день – в свой цвет. Их было три: красный, серый и черный. Иногда они чередовались, иногда шли полосами – один цвет подряд. Сейчас образовался такой беспросветно черный ряд, какого не бывало никогда. Измученный бессонными ночами, загнанный, истерзанный, злой, погруженный в глубокую безнадежность, под холодным мерзким дождем, который в Москве прыскал уже несколько суток без передышки, с драным чемоданом, я пересек площадь у Курского вокзала, спустился в тоннель, за-

тем вылез на платформу (о этот глупый и тоже мерзкий Курский вокзал с лазаньем вверх-вниз, как будто сделанный нарочно для мучения людей!), втащился в вагон и, ни с кем не разговаривая, ни на кого не глядя, забрался на верхнюю полку и уснул на голой доске. Мне хотелось провалиться в сон. И я провалился. Долго ли, коротко ли я спал, не знаю, не чувствовал. Спал беспробудно, без снов. Когда проснулся, не хотел открыть глаза, боялся их открыть. Во сне было хорошо, во сне ничего не было, а сейчас – открою, и снова начнется ад. Медленно и лениво открываю.

Поезд стоит на полустанке. И первое, что я увидел за окном, – ветку цветущего миндаля. А потом – яркую зелень деревьев, голубое небо и беспредельную синеву моря. Это было так сверкающе прекрасно, что мне показалось – я проснулся в другом мире. В мгновение ока – нет, я даже не успел сделать этого мгновения оком – какая-то высочайшая волна радости окатила меня с головы до ног и подняла ввысь. Я услышал голоса своих товарищей, смех. Мне сделалось милым все – и вагон, и друзья, и их смех, и это счастье за окном: цветы, небо, море. Вся моя черная хандра, вся тяжесть невзгод – все исчезло, как по взмаху волшебной палочки. Я снова сделался счастливым. Меня просто распирало счастье! И я чувствовал – это не на минуту, не на день, это уже навсегда.

Такое полное и глубокое постижение жизни, ощущение, что ты сам и есть вся жизнь, часть всего мира – и часть, и

целое, – бывало со мной редко, но пронизывало всего насквозь и надолго. Первый раз это случилось, когда я однажды днем шел по Гоголевскому бульвару и в меня, как в мальчика Кая из сказки Андерсена «Снежная королева», вдруг влетел осколок волшебного зеркала – только доброго волшебного зеркала. Я даже остановился, опешил. В одно мгновение я испытал невыразимое счастье всей жизни.

Именно это повторилось при встрече с Кавказом. Таким образом, предвоенные дни сделались днями радости. Красота Кавказа, да еще цветущего, майского, сама по себе, без всяких причин и поводов, – радость. В голове беспрерывно вертелись строки то из одного, то из другого стихотворения: «Кавказ подо мною. Один в вышине...», «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал...», «Вокруг меня цвел Божий сад, растений радужных наряд...», «Налево магнолия, направо глициния...» Это уже, кажется, о Крыме, но не все ли равно, так подходит! И даже в приступе радости сам сочинял:

*Я сегодня чище чайки, серебристей, чем полтинник.
От ботинок и до майки бел, как будто именинник...*

Из Сочи театр переехал в Кисловодск. Моря нет, все не так пышно, но тоже поглотило целиком своей мягкостью и величием. А тут еще рядом Пятигорск, овеванный Лермонтовым. И сверх того: незадолго до 22 июня на труппе прочли

веселую, даже блестящую комедию в стихах – «Давным-давно» Александра Гладкова. Тоже приятно. Бабанова будет играть Шурочку Азарову, Лукьянов – Ржевского. Мы, молодежь, всегда взволнованно переживали выпуск спектакля – от читки пьесы до премьеры. Событие! Все отлично!

Тут бы написать: и вдруг все переменилось, началась война.

«Так, да не так», – как любит говорить моя двоюродная сестра Татьяна. Пожалуй, первое чувство, которое я испытал, когда услышал о начале войны, – острое любопытство, как перед ожиданием какого-то грандиозного представления: что-то теперь будет, ай как интересно! Глаза мои раскрылись шире в ожидании. Я увидел, как в первые же часы люди стали быстрее ходить по улицам, почти бегать. Возникло всеобщее возбуждение. Мы, молодежь театра, тоже были взвинчены, возбуждены. Огромной шумной и веселой компанией мы ринулись в кафе-мороженое отмечать это совершившееся, но невидимое всем нам событие. Мы хохотали, остряли, дурачились и закончили «торжество» тем, что разлили в высокие металлические вазочки из-под мороженого шампанское и с криками «ура!» выпили. Назовите это мальчишеством, глупостью, идиотизмом, как хотите, но это было так. Именно это теперь меня и поражает, потому что сейчас, когда мне много лет, когда у меня семья, когда я знаю, заряд какой разрушительной силы кроется в слове «война», я бы не побегал в кафе, я бы не дурачился, не смеялся, а, об-

хватив голову руками, мучительно думал: как спасти детей? Но тогда эта-то необычайность – началась война! – и сделала жизнь еще более интересной и любопытной: я узнаю, что такое война. Вроде повезло.

Вечером 22 июня мы играли спектакль в Пятигорске. Кажалось, все на своем месте. Актеры надевают нарядные испанские костюмы (шла «Собака на сене» Лопе де Вега), гримируются, бутафоры раскладывают по местам необходимые вещи, стучат молотками рабочие сцены, в зрительном зале сверкают зажженные люстры... Но мы полны любопытства: придет зритель в театр или не придет в этот странный и непонятный день? Всегда было набито битком.

Третий звонок, постепенно гаснет свет в зале. Смотрю в щелку. Пустых мест около половины. И эти пустые стулья почему-то вселяют в душу тревогу. Первая тревога.

Спектакль идет как-то необычно. Те же слова, те же мизансцены. Но все вдруг обретает какую-то бессмысленность. Началась война, а тут какая-то графиня де Бельфлор занимается глупостями: можно ей любить своего секретаря Теодоро или не можно, уронит это ее графскую честь или не уронит. Ну, кому до этого дело? Началась война! Играем – и какое-то чувство стыда.

После окончания спектакля, разгримировавшись, выходим из театра и... попадаем в кромешную тьму. Что такое? Почему не горят веселые вечерние огни Пятигорска? Приказ: свет в городах не включать – вражеские летчики ничего

не должны видеть, если окажутся над городом. Война идет где-то там, за тридевять земель, за тысячи километров от нас, но дыхание ее сразу же дошло сюда, до тихих, божественных Минеральных Вод. Тревога номер два. Шаримся в темноте, держась за руки и окликая друг друга. Южные ночи черны.

А на следующий день под звуки оркестра идут новобранцы. Мы выскакиваем из театра и видим эту картину. Оркестр гремит звонко, трубы поют в ясном солнечном воздухе. Но почему в привычном уху марше слышится какая-то чеканная сухость и тревога? Так, да не так. А еще рядом быстро идут, почти бегут матери и отцы марширующих к вокзалу новобранцев. Тревога! Тревога номер три.

Много времени спустя, в 1942 году, после лечения в госпитале ехал я, добираясь до дома, по Волге. Ночи были тоже черные, хотя не такие беспросветные, как на юге. Пароход причалил к Чебоксарам. Пристань была забита людьми, а сверх того толпа стояла на берегу. Это тоже провожали новобранцев. Пареньки моложе тех, что маршировали в Кисловодске. Стали грузиться на пароход. Раздались прощальные слова, выкрики, всхлипы. Черная масса плотно скупенных людей зашевелилась, закачалась как одно большое непонятное существо. Когда отдали трап, еще соединявший последней связью людей на пароходе и на берегу, люди на пристани – отцы, матери, братья, сестры, невесты, друзья – вцепились руками в борта парохода, стараясь удержать его. Простран-

ство между пароходом и пристанью становилось все шире. Тела стали вытягиваться над водой, но пальцы не разжимались. Матросы бегали вдоль палубы и отрывали эти руки от бортов. Через мгновение я услышал плеск падающих в воду тел, и река огласилась воплями. Пароход шел, а вслед ему неся этот единый многоголосый вой. Он тянулся за нами долго, как туман, как дым, как эхо.

Когда я писал в сценарии «Летят журавли» сцену проводов Бориса, я помнил и звуки оркестра в Кисловодске, и вой над Волгой, и как провожали меня со 2-й Звенигородской улицы 10 июля 1941 года. Краснопресненская дивизия народного ополчения лавой плыла по ночным темным московским улицам. По краям тротуаров стояли люди, и я услышал женский голос, благословлявший нас в путь: «Возвращайтесь живыми!» Эту реплику я в неприкосновенности отдал бабушке в пьесе «Вечно живые». Она заканчивает первый акт драмы.

Решение

До этого выхода из Москвы с первого дня войны возник и лично мой нравственный вопрос: где должен быть в это время я? Собственно, вопрос этот не мучил меня долго, он возник и немедленно был решен: я должен идти на фронт. Это не было желанием блистательно проявить себя на военном поприще. Мне просто было бы стыдно оставаться в тылу в то время, когда мои сверстники были уже *там*. Я повиновался чувству внутреннего долга, обязанности быть там, где всего труднее (подобная фраза есть в пьесе «Вечно живые», ее произносит уходящий на фронт Борис).

Я не знаю, как воспринял мое решение отец. Никогда до самой своей смерти он не обронил об этом ни одного слова. Да он бы и не мог сказать «нет», хотя сам прошел через все 1914–1918 годы с боями, ранением и пленом. Этому ему не разрешил бы его отцовский долг. Но он и не сказал бы «да» как знак одобрения. Отец был очень суров, и сентиментальность была ему решительно чужда. Да и слова одобрения в подобных ситуациях произносятся только со сцены или на собраниях чужими людьми. «Слова солгут, молчанье скажет все» (Шекспир).

Моя любимая девушка поправляла волосы перед зеркалом, когда я вошел и объявил, что ухожу в армию. Не отрывая глаз от своего хорошенького личика, не поворачивая го-

ловы в мою сторону, она беспечно произнесла: «Да? Какого числа?» Я назвал дату, и мы перешли к разговорам на другие темы.

Мне могут сказать: а что, собственно, особенного, товарищ Розов, в вашем поступке? Десятки тысяч других юношей и девушек распорядились в эти дни и годы своей судьбой точно так же. Да, это так. И из Театра Революции мы ушли на фронт довольно большой группой. А когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на 2-й Звенигородской улице и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперед!» – ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман.

Я пишу об этом своем решении потому, что находились люди, которые спрашивали меня: «Зачем ты сделал эту глупость?» На подобные вопросы я пожимал плечами и отшучивался. Иногда бывали и более резкие суждения: «Понимаем, ты пошел добровольцем с товарищами, чтобы тебя не забрали и не бросили в общий котел черт знает куда. В ополчении все-таки легче». На это я отвечал, что меня никуда бы не забрали, так как у меня был белый билет.

Дополнение. Когда я писал эту главку, один очень славный и мыслящий молодой человек в разговоре о прошлом, который у нас шел, вдруг спросил:

– Виктор Сергеевич, а почему вы пошли добровольцем?

Я чуть не подпрыгнул на скамейке (дело было за городом, на даче). Ах, как кстати мне этот вопрос! Сейчас я проверю, достаточно ли ясно написал о своем решении. И пересказал молодому человеку все, что вы сейчас прочли. К моему огорчению, я понял: написал неполно, неубедительно. Потому что молодой человек спросил меня:

– А перед кем был ваш нравственный долг?

– Перед самим собой, – без запинки, как натуральный отличник в школе, ответил я.

– Теперь я понимаю, – с какой-то нечеткой интонацией произнес мой собеседник.

Я подумал: то ли он действительно понял, то ли хочет прервать разговор, не надеясь услышать более внятного объяснения. Я добавил, что нравственный долг бывает только перед самим собой, а не перед кем-то. Привел примеры из своего личного опыта, когда мне удавалось его выполнить, когда – нет, и закончил словами:

– Знаешь, Никита, мне казалось – я не мог бы дальше жить, если б тогда не нырнул в ту купель.

На Бородинском поле

На Бородинском поле мы рыли огромный противотанковый ров. Зачем? Чтобы не прошли немецкие танки. Руки были в кровавых мозолях, пальцы не могли взять кусок хлеба и ложку. Копали от зари до зари, а в июле, как понимаете, это долгое время. Но немецкие танки потом прошли. И меня до сих пор берет зло, сам не пойму – на что. На то ли, что немецкие танки, черт бы их побрал, прошли, на то ли, что мы рыли этот проклятый ров напрасно. Он организовался в моем уме символом бессмысленности. Но это мелочь, чепуха, мало ли на войне было такого, что казавшееся верхом смысла, логики и необходимости в одно мгновение оборачивалось бессмыслицей. Например, нас, кого зачислили в полковые батареи, долго учили рыть артиллерийский окоп, делать площадки для орудия, вычисляя всевозможные размеры чуть ли не с точностью до миллиметра. Каждый орудийный номер обучался особенностям своего искусства. Я был хвостовым. Вместе с двумя другими ребятами надо было ловко и быстро протаскивать по заранее вырытому ходу сошник (хвост) старинной 76-миллиметровой пушки, которой нас оснастили. Хвост был тяжел, но втроем мы все же управлялись с ним. Особенно трудно было наводчику. На эту должность всегда выбирался лучший и умнейший в расчете. Освоить прицельный прибор и бить точно – дело нелегкое.

Но в первом же бою все хитрости и ловкости оказались совершенно ненужными. Пушка наша стояла на пахоте, колеса ее зарылись в землю, тело ее наклонилось вбок чуть ли не на сорок пять градусов, и именно в таком положении мы начали вести наш первый бой, отражая натиск противника.

Должен сказать, что и атаки противника были, на мой взгляд, еще более нелепыми. Немецкое подразделение вышло из молоденького живописного лесочка и, выстроенное ровным прямоугольником, двинулось на нас, прямо на нашу пушку. Командир шел сбоку, и на его бедре болталась сверкающая в утренних лучах солнца коричневая кожаная полевая сумка. Прямоугольник стройно шел на нас. Видимо, это была та самая психическая атака, которая так эффектно сделана братьями Васильевыми в фильме «Чапаев». Очень мне эта сцена в кино нравилась. Страшная, даже жуткая. А то, что я увидел своими глазами, было настолько глупо, что, если бы не напряжение боя, можно было бы только потешаться. Это стройное движение на нашу пушку, пусть допотопную 76-миллиметровую, но все-таки огнедышащую, выглядело попросту идиотизмом. Неужели они могли предполагать, что этот их игрушечный марш кого-то устрасит? Все-таки мы были люди почти с высшим образованием. Или у них тоже был какой-то подобный фильм, они решили претворить искусство в жизнь? Ой, глупо! Искусство никогда так прямо не соотносится с жизнью.

Вопреки всяким правилам стрельбы из пушки, мы откры-

ли затвор и, глядя в ствол как в заводскую трубу, навели его на движущихся идиотов. Навели (в трубу посмотрели все, даже я: интересно), зарядили снарядом и выстрелили. Куда попал снаряд, я не видел, но стройный прямоугольник вдруг рассыпался и все немцы в самом обыкновенном беспорядке побежали обратно в живописный лесок. Побежали так быстро, что мы даже не успели дать по ним второй выстрел.

Кстати сказать, сошник пушки на пахотном поле оказался не так тяжел, как на твердом оружейном окопе. Я его поднимал один. Вот этот биологический феномен мне тоже хочется выделить жирным шрифтом. Тогда я и не знал, что для минут опасности у человека так много резервной силы. Я, довольно щеделушный молодой человек, оказался Геркулесом. Ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах в обычное время я не мог бы поднять этот сошник. В госпитале один раненый мне рассказывал, что он прошел на перебитой ноге несколько километров и сам не мог понять, как он это сделал. Он лежал на койке из-за этого самого ранения уже более полугода, а тогда, в минуту смертельной опасности, шел и шел.

Но все это было уже не на Бородинском поле. На Бородинском поле мы рыли, рыли, рыли противотанковый ров. И вдруг из-под заступов вместе с комьями земли стали вылетать человеческие черепа. Сделалось тихо. Мы прервали рытье. Склонившись над черепами, разглядывая их, мы, возможно, напоминали группу Гамлетов. «Бедный Йорик!..»

Вероятно, это были черепа той далекой великой битвы, которая вошла в историю под названием Бородинского сражения. Кутузов, Барклай, Багратион, батарея Раевского... Каким-то мистическим ветром повеяло оттуда. Он соединил далекое прошлое с настоящим, пронизал насквозь. Были они, теперь мы. Великое прикосновение... Я и сейчас вижу эти темно-желтые с почернением, уже порядком изъеденные временем черепа.

К теме Бородина я прикоснулся еще раз.

Мы артисты. А артист – всегда артист. Пока были не на передовой, каких только забав мы не устраивали! Даже сделали целый концерт для своих же товарищей – бойцов и командиров. И номер у нас с моим другом Дмитрием Вуросом был отменный: мнемотехника. Это когда один актер сидит на сцене с завязанными глазами, а другой ходит по залу, вынимает у зрителей из карманов расчески, платки, документы и спрашивает завязанного:

– Скажите, что я сейчас держу в руке?

– Паспорт, – поражая всех своим ясновидением, отвечает волшебник.

Зал глухо рокочет, потрясенный тайной.

Вурос и я решили овладеть этой «окультичной наукой».

– Значит, так, Митя, когда я беру в руки паспорт (не удивляйтесь, у бойцов народного ополчения паспорта не отбирали, они были почти у каждого), я начинаю свой вопрос к тебе со слова, начинающегося на букву «п»: «Пожалуйста, ска-

жите, что я держу в руках?» Если я возьму газету, начну с буквы «г»: «Говорите, что у меня в руках».

– Газета.

– Правильно. Какая?

– «Правда».

– Правильно. А сейчас я взял у товарища командира другую газету. Какая это газета?

– «Красная звезда».

– Пожалуйста, ответьте, какая теперь у меня в руках газета?

– «Комсомольская правда».

– А что я держу сейчас? Постарайтесь догадаться.

– Папиросы.

– Я взял другой предмет. Какой?

– Кисет.

– У меня в руках монета. Догадайтесь, какого достоинства монета?

– Две копейки.

И так далее. Честное слово, это имело большой успех, доставляло радость. Конечно, профессиональный мнемотехник скажет: наивно. Вероятно. Но что могло быть в обиходе солдата и даже командира? Двадцать – тридцать предметов вместе с фотографией жены, детей или возлюбленной. А память в молодости свежая и цепкая: хоп – и готово!

Так вот о Бородино: однажды на каком-то привале на опушке я влез на пенек и стал читать нашему отдыхающе-

му на травке взводу: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» Читал громко, но не очень выразительно. Все равно слушали хорошо, что называется – глядели в рот. Артист! Но когда я дошел до слов: «Ребята! Не Москва ль за нами?» – я вдруг почувствовал Москву, которая действительно была за моей спиной. Строчки вдруг сделались моим собственным текстом. Опять внутри меня что-то свершилось, и слова: «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!» – я произнес с той единственной страшной интонацией, с которой, вероятно, и надо читать их всегда, с той интонацией, от которой у меня самого сжалось горло. Я остановился и, не дочитав стихотворение, слез с пенька. Аплодисментов не было, но и никто не сказал: «Что ж ты оборвал вроде на середине...»

Почему я так долго, тридцать с лишним лет, помню, казалось бы, мимолетный факт? Думаю, потому, что подобные мгновения особым светом освещают что-то. Мне кажется, через них я лучше понимаю свое ремесло. Прожитая жизнь тоже имеет свою нервную систему, свои нервные узлы. Остальное если не лишнее, то просто плоть.

Дикая утка

Кормили плохо, вечно хотелось есть. Иногда пищу давали раз в сутки, и то вечером. Ах, как хотелось есть! И вот в один из таких дней, когда уже приближались сумерки, а во рту еще не было ни крошки, мы, человек восемь бойцов, сидели на невысоком травянистом берегу тихонькой речушки и чуть не скулили. Вдруг видим, без гимнастерки, держа что-то в руках, к нам бежит еще один наш товарищ. Подбежал. Лицо сияющее. Сверток – это его гимнастерка, а в нее что-то завернуто.

– Смотрите! – победителем восклицает Борис. Разворачивает гимнастерку, и в ней... живая дикая утка.

– Вижу: сидит, притаилась за кустиком. Я рубаху снял и – хоп! Есть еда! Зажарим.

Утка была некрупная, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она смотрела на нас изумленными бусинками глаз. Нет, она не была напугана, для этого она была еще слишком молода. Она просто не могла понять, что это за странные милые существа ее окружают и смотрят на нее с таким восхищением. Она не вырывалась, не кричала, не вытягивала на тужно шею, чтобы выскользнуть из державших ее рук. Нет, она грациозно и с любопытством озиралась. Красавица уточка! А мы – грубые, пропыленные, нечисто выбритые, голодные. Все залюбовались красавицей. И произошло чудо, как

в доброй сказке. Кто-то просто произнес:

– Отпустим!

Было брошено несколько логических реплик, вроде: «Что толку, нас восемь человек, а она такая маленькая», «Еще возиться!», «Подождем, придет же этот зараза повар со своей походной кухней-таратайкой!», «Боря, неси ее обратно». И, уже ничем не покрывая, Борис бережно понес утку обратно. Вернувшись, сказал:

– Я ее в воду пустил. Нырнула. А где вынырнула, не видел. Ждал-ждал, чтоб посмотреть, но не увидел. Уже темнеет.

Когда меня заматывает жизнь, когда начинаешь клясть все и всех, теряешь веру в людей и тебе хочется крикнуть, как однажды я услышал вопль одного очень известного человека: «Я не хочу быть с людьми, я хочу быть с собаками!» – вот в эти минуты неверия и отчаяния я вспоминаю дикую утку и думаю: нет-нет, в людей можно верить. Это все пройдет, все будет хорошо.

Мне могут сказать: «Ну да, это были вы, интеллигенты, артисты, от вас всего можно ожидать». Нет, на войне все перемешалось и превратилось в одно целое – единое и неделимое. Во всяком случае, там, где служил я. Были в нашей группе и два вора, только что выпущенных из тюрьмы. Один с гордостью красочно рассказывал, как ему удалось украсть подъемный кран. Видимо, был талантлив. Но и он сказал: «Отпустить!»

Глупость

Наша батарея еще далеко от линии фронта. Учат обращаться с оружием, ползать по-пластунски, колоть штыком соломенное чучело. (Отвратительное ощущение! Я молил Бога, чтобы мне не выпал на долю штыковой бой. И он не выпал.) Словом, осваивали все премудрости военной науки.

Расположились в березовом лесу. Чистим личное оружие. Что это такое? Какой-то мгновенный свист и шлепок в березу прямо над головой. Опять свист и шлепок в дерево. Еще. Еще. Поняли: откуда-то летят пули – и прямо в нас. Немцы далеко. Что за пули? Все легли. А я – о глупость, о безмозглость, о идиотизм! – в благородном раздражении вскакиваю и иду на пули. Да, да, иду туда, откуда летят пули, чтобы узнать, кто это безобразничает. Вышел из лесу на поле. Пули свистят, люди лежат в бороздах, а я иду и иду. На вспаханном поле взлетают легкие облачка пыли там, куда попадают пули. Ага, значит, иду правильно, они летят оттуда. И пришел. За невысоким холмом другое подразделение устроило учебную стрельбу. Тоже обучаются. Далеко не все снайперы, и пули летят поверх холма к нам.

Совсем по-штатски подошел к командиру и спросил:
– Что это вы делаете? – И пояснил цель своего визита.

Командир – вчера он тоже был, в общем, штатский – не потребовал от меня ни козыряния, ни четкого рапорта по

форме, а, обратившись к упражнявшимся в стрельбе, крикнул:

– Отставить!

Я сказал «спасибо» и побрел к своим.

Это была не храбрость, не отвага, не долг совести. Что это было? Юношеское непонимание смертельной опасности. Оно свойственно молодому возрасту, когда смерть биологически вынесена за скобки. Взрослые называют это глупостью.

Приговоренный

– Митя, говорят, в крайней избе сидит парень, приговоренный к расстрелу за дезертирство. Пойдем посмотрим.

Идем. Вот и деревня. Фронт близко, и не во всех домах люди. Есть и пустые избы. Эта тоже, видимо, покинутая. Окна без единой занавески, и за окнами чернота стен. На крылечке солдат с винтовкой сидит – караулит. Из дома доносится пение. Кто бы это? Обходим дом вокруг и, чтобы не видел часовой, встав на завалинку, робко заглядываем в окно.

Из угла в угол большой, совершенно пустой комнаты быстрыми шагами, заложив руки за спину, сжав пальцы, наклонив голову, как бык на корриде, ходит парень, высокий шатен. Гимнастерка без ремня – отобрали. Ходит из угла в угол, как сумасшедший маятник, и громким диким голосом поет: «Если завтра война, если завтра в поход, если грозная сила нагрянет, весь советский народ, как один человек, за Советскую Родину встанет».

Мы как прилипли к окну, так и не можем оторваться, охваченные ужасом. Знаем, что нехорошо смотреть на такие страдания, нельзя, а смотрим. Парень поет и поет, ходит и ходит.

До сих пор ходит и поет.

После боя

Тот единственный бой, в котором я принимал участие, длился с рассвета до темноты без передышки. Я уже говорил, что описывать события не буду. Да и все бои, по-моему, уже изображены и в кино, и в романах, и по радио, и по телевизору. Однако при всем этом боевом изобилии для каждого побывавшего на войне его личные бои останутся нерассказанными. «Так, да не так», как говорит Татьяна. Словом, за четырнадцать часов я повидал порядком и все глубоко прочувствовал.

Крики «ура» в кафе-мороженом в Кисловодске кажутся до мерзости дрянными и даже гнусными. Причастившись крови и ужаса, мы сидели в овраге в оцепенении. Все мышцы тела судорожно сжаты и не могут разжаться. Мы, наверно, напоминали каменных истуканов: не шевелились, не говорили и, казалось, не моргали глазами. Я думал: «Конечно, с этого дня я никогда не буду улыбаться, чувствовать покой, бегать, резвиться, любить вкусную еду и быть счастливым. Я навеки стал другим. Того – веселого и шустрого – не будет никогда».

В это время – свершившегося чуда я не мог тогда оценить, хотя и заметил его, – в овраг спустился волшебник повар со словами: «К вам не въехать. Давайте котелки, принесу».

Какая может быть сейчас еда! Нет, не сейчас, какая вооб-

ще может быть еда, зачем, как вообще можно чего-то хотеть! Однако некоторые бойцы молча и вяло стали черпать ложками суп и жевать. Видимо, они были крепче меня. У них двигались руки и раскрывались рты. Это была уже жизнь. Во мне ее не осталось. Потрясение было, может быть, самым сильным, какое я испытал за всю свою жизнь. Как ни стараюсь я сейчас воссоздать его в себе и снова почувствовать пережитое, не могу. Только помню.

Ошеломление продолжалось недолго, потому что не успели мои товарищи съесть и пяти ложек супа, как немцы двинулись на нас снова и ураган забушевал с новой силой. Все завертелось, только теперь не при свете дня, а впотьмах, в ночи. Они окружили нас, били из всех видов оружия, рвели самолетами над головами. А мы пытались куда-то прорваться. Товарищи падали один за другим, один за другим. Юное красивое лицо медсестры Нины было сплошь усыпано мелкими черными осколками, и она умерла через минуту, успев только сказать: «Что с моим лицом, посмотрите». И не дождалась ответа.

...Многого я бы не узнал без войны. А надо ли знать? Надо, если это было. Без всего этого моя чернильница была бы пуста.

Белая булка и музыка

Коротко, совсем коротко.

Мы вырвались из окружения, буквально наехав на немецкое кольцо в слабом его звене. Мы – это орудийный расчет и сестры – были в кузове грузовика, сзади которого болталась та самая 76-миллиметровая пушка. Многие в машине оказались мертвыми, иные ранены, с ними несколько человек, чудом уцелевших. Бесстрашная наша батарейная сестра Рахиль Хачатурян и мой друг Сергей Шумов переложили меня в другой грузовик. На нем я должен был ехать куда-то в полевой госпиталь.

Помню то место: край деревни, песчаные некрутые берега речушки, застывшая черно-зеленая трава, посыпанная снегом. Сергей ходил около машины. Широкое, по-крестьянски доброе лицо его было серого цвета, скулы выступили резко.

Здесь было тихо. Но на несколько минут. Немцев снова прорвало. Все загудело, и на деревеньку пошел огонь. Машина наша зафыркала и дрогнула.

– До свидания, Сережа...

Он остановился, посмотрел на меня невидящими глазами и мне, истекавшему кровью, сказал:

– Завидую тебе, Витя.

Я был последним, кто видел Сережку живым. У него были молодая жена и совсем маленький ребенок. В Театре имени

Маяковского (бывший Театр Революции) на мраморной доске вы можете прочесть и его фамилию, написанную золотыми буквами. Он был очень хороший парень. Золотые буквы и вечная память. Ах, лучше бы он жил...

Где меня мотала машина, не знаю, не помню. Помню только ночь под землей в полевом лазарете, керосиновые лампы на столах, дрожащую над головой от взрывов бомб землю. Что-то надо мной свершалось. Мое внимание – на товарища из нашей батареи. Забыл имя его и фамилию. Он на другом операционном столе, близко. Сидит, широко открыв рот, а врач пинцетом вытаскивает из этого зева осколки, зубы, кости. Шея вздутая и белая, и по ней текут тоненькие струйки крови.

Я тихо спрашиваю сестру, бесшумно лавирующую между столами:

– Будет жить?

Сестра отрицательно качает головой.

Вспомнил его фамилию: Кукушкин.

Шум. Резкий широкий шум. Бомба упала в госпиталь. И как муравейник: бегут, складывают инструменты, лекарства. Нас – на носилки, бегом, опять в грузовики. С полумертвыми, с полуживыми, с докторами, с сестрами. Едем через корни, овражки, кочки. Ой какой крик в машине! Переломанные кости при каждой встряске вонзаются в твое собственное тело. Волим, все волим. Ой-ой-ой!

– Давайте в Вязьму!

Вот она и Вязьма. Скоро доедем.

Стоп, машина!

– Что там? – говорит шофер.

– В Вязьму с другой стороны уже входят немецкие танки.

Мы в вагонах-теплушках. Поезд тянет набитые телами вагоны медленно. Налет авиации. Стоп! Скрежещут колеса, тормоза. Кто на ногах, выскакивает в лес. В раздвинутые двери нашего товарняка вижу, как лес взлетает корнями вверх. Убежавшие мчатся обратно в вагоны, а мы – лежащие – только лежим и ждем. Смерть так и носится, так и кружит над нами, а сделать ничего не можем. Пронесет или не пронесет?

Бомбежка окончена. Едем дальше. Тишина. Куда-то приехали. И вдруг... Приятная, нежная музыка. Где это мы? На каком-то вокзале в Москве. На каком? Так до сих пор и не знаю. Кто на ногах, идет на перрон. И у одного вернувшегося я вижу в руках белую булку. Белую как пена, нежную как батист, душистую как жасмин.

Белая булка и музыка.

Как, они здесь заводят музыку?! Едят белые булки?! Что же это такое? В то время как там ад, светопреставление, здесь все как было? Да как они могут?! Как они смеют?! Этого вообще никогда не может быть! Никогда! Белая булка и музыка – это кощунство!

Сейчас, когда я пишу эти строки под Москвой на даче, я люблюсь распускающимися астрами. Война, хотя и не в гло-

бальном виде, кочует по свету из одной точки земного шара в другую. Одумаются ли когда-нибудь люди или прокляты навеки?

Кусочек сахара

Этот вояж в теплушке до Владимира, где нас выгрузили, продолжался шесть дней.

Жизнь между небом и землей. Ходячий здоровенный солдат с перебитой рукой в лубке, небритый и растерзанный, стоит надо мной, смотрит. Что смотрит – не знаю. Уж поди нагляделся на умирающих.

– Чего тебе надо? – вдруг спрашивает он.

Чего мне надо? Ничего не надо. Так и отвечаю.

– А чего хочешь? – хрипло спрашивает он.

– Сладкого хочется.

Парень здоровой рукой лезет в карман зелено-серых военных штанов, достает грязнущий носовой платок и начинает зубами развязывать узелок, завязанный на конце этого платка. Развязывает медленно, деловито, осторожно. Развязал и бережно достал оттуда маленький замусоленный кусочек сахара.

– На, – протягивает он мне свое сокровище, свою драгоценность, свой клад. – Съешь.

Спасибо тебе, милый солдат! Жив ли ты, хорошо ли тебе, если жив? Хорошо бы – хорошо!

Судьба

18 июля 1942 года я выписываюсь из казанского госпиталя. Жара. А я не только в гимнастерке – в шинели. За плечами вещевой мешок, руки на костылях. Пот струйками бежит по лицу, стекает за воротник вдоль всего тела. Доскакал до трамвая и еду к пристани через весь город по дамбе. Это теперь красавица Волга вплыла в Казань и берега ее оделись в камень, а тогда... Трамвай битком набит людьми, отчего жара еще нестерпимее. Кажется, едешь бесконечно.

Приехали. Слез с трамвая, иду к пароходам. Их два, и оба идут на Астрахань. Туда-то мне и надо. «Коммунистка» и «Гражданка». Стою на обрыве и решаю вопрос. Если пойду на «Коммунистку», уеду через тридцать минут. Если на «Гражданку» – она отходит только вечером. Но до «Коммунистки» надо идти метров триста. «Гражданка» стоит рядом. Я еще никогда так долго не ходил на костылях и вообще почти год не ходил. Сил нет, и слабость выбирает «Гражданку». Плетусь. Костыли вязнут в песке. Вот они стучат по мосткам, и вот я на пароходе. Устроился.

«Коммунистка» пошла вниз. «Дурака сваял, что не поехал на ней. Уж плыл бы и плыл». Однако к вечеру и мы тронулись. Я прошел огонь, теперь прохожу воду. Кстати замечу, потом прошел и медные трубы. Они лежали на барже, на которой я эвакуировался из Махачкалы через Каспийское

море, и по этим самым трубам я, как акробат, ходил на костылях. Чего только не бывает на свете!

Милая моя Волга, давшая мне столько детского счастья! В низовьях уже идет битва за подступы к Сталинграду. И в первую же ночь немцы бомбят пароходы и баржи, идущие по Волге. Наш белоснежный красавец срочно на ходу перекрашивается в серый цвет, чтобы не выделяться ночью на воде, не быть для летчиков приметной мишенью. Чем ниже мы спускаемся, тем жарче чувствуется пламя войны. Вон плывут трупы. Там с ревом вырывается пламя из пробитой бомбой и выбросившейся на мель нефтянки. Черный дым ковром перекинулся с берега на берег, и мы едем сквозь него, как сквозь черную арку.

Бежит к нам катерок. Что-то кричат, машут руками:
– Стойте!

Пароход судорожно шлепает плицами, давая задний ход. В чем дело? Немцы забросали Волгу минами, ехать нельзя. Ждите, когда выловят.

Ждем. Махнули флажком – едем. Вот они, мины, – рогатые осьминоги, выволоченные на берег.

Каждую ночь пристаем прямо к берегу, где возможно. Бросаем длинные доски, и все пассажиры гуськом сходят на землю и скрываются в лесу. Идет бомбежка. Самолеты скребут небо. Бомбы падают редко и глухо. Бьет то по селению, то по барже, то наугад: где-то что-то ему померещилось.



В одной из поездок на теплоходе

Едем много дней. Трупов на воде все больше и больше. Сожженные селения попадаются все чаще и чаще. Разбитые баржи, пароходы тоже. У всех одна мысль: попадет в нас или не попадет. Едем медленно, крадучись.

Вон еще один пароход прибил к берегу. До чего же черен бывший белый красавец! Вот уж поистине сгорел в дым. Ни одного стекла в окнах, только зияют чернеющие проемы. Один остов. Крупно не повезло кому-то. Проезжаем ближе, и я читаю дугообразную надпись над колесом: «Коммунистка».

В главу моих воспоминаний можно было бы вписать и эту

страничку. Много-много лет спустя я попал в Казань и захотел побывать на могиле Лобачевского. Как-то нехорошо быть в Казани и не пойти к этой могиле. Мы нашли памятник великому русскому математику, поклонились ему и уж направились к выходу, как мое внимание привлекла большая группа однообразных могил с пирамидками, на вершинах которых были прикреплены пятиконечные красные звезды, будто елочные украшения. Я спросил своих друзей-казанцев, чьи это могилы.

– Здесь похоронены раненые, которые умерли в казанских госпиталях, – ответили мне.

Опять я испытал прикосновение чего-то холодного. Прилетела мысль: вот тут, на этом самом месте, мог бы лежать и я. Но я выжил и живу. Зачем? Почему судьба бережет меня? Что я должен сделать?

Возвращение к главе «Я счастливый человек»

Мне выпало на долю тяжелое ранение и госпиталь. А я говорю судьбе: «Спасибо!»

Мне скажут: от такого образа мыслей недалеко до непротivления, до примирения со всякими пакостями. Нет, не то, совсем не то. Мало ли что скажут! Моя жизнь. Как хочу, так ее и осмысляю, так и чувствую. А уж вы, те, кто «скажет», чувствуйте свою, как вам будет угодно.

...Вот как далеко я укатил от рассказа о том, сколько мне лет. Возвращаюсь.

1946 и 1947 годы были тоже напряженные. Карточки на хлеб и продукты отменили только в декабре 1947-го. И переменили деньги, уменьшили в десять раз. Не переменили только мелочь. Занятно было.

Проснулись мы с женой утром. Она мне говорит:
– У нас мелочь есть, сходи в магазин. Может быть, что-нибудь купишь.

Мелочь у нас действительно была. Богатые копят крупные деньги, бедные – мелочь. Потряс я разные коробочки и потряс что-то рублей около пяти. Немало!

Пошел в молочную на Метростроевской улице. В этой молочной вчера, кроме суфле, лярда, маргогусалина, ничего не

было. Пустые грязные полки. А тут вхожу, на сверкающем прилавке бруски масла – белого, желтого, шоколадного, сгущенное молоко в банках с синими этикетками, красные и янтарные головки сыра, творог, сметана. Глазам больно. Крассотища! И народу – никого. Денег-то новых еще не выдавали. Один-два-три человека, кроме меня, с мелочью. Стоим разглядываем все эти годами не виданные чудеса в решетке. И все без карточек, свободно.

Когда-то десятилетним мальчиком так же стоял я в Костроме у магазина «Крым». Живя в Ветлуге, я и в глаза не видел никогда апельсинов, лимонов, мандаринов, и яблок-то был один сорт – анисовые. И вот в первые же дни нэпа одна женщина открыла торговлю фруктами на Советской улице, тогда она называлась – Русина. Стоял я у витрины, где горками были выложены оранжевые пупырчатые апельсины, золотые лимоны, румяные крымские яблоки, и каждое выглядывало из нежной тонюсенькой бумажки как из чашечки. Любовался я этими невиданными плодами рая, но ни на одно мгновение не возникало у меня желания попробовать их, ощутить на вкус. Это было настолько за гранью, что такой грешной мысли и в голову не могло прийти. Но любовался долго. Стоял на тротуаре у витрины и наслаждался. Бывало, играю во дворе, а потом сам себе скажу: «Пройдусь до «Крыма», полюбуюсь». Шел, смотрел. Хорошо!

Я вообще люблю глазеть на витрины, осматривать рынки, любопытствовать, что делают руки человеческие, что есть в

природе. Когда впервые попал в Лондон, я осмотрел все рынки – рыбный, птичий, мясной, цветочный, овощной, фруктовый. И каждый – поэма.

Боюсь, меня сейчас совсем унесет в сторону – начну рассказывать об этих базарах, пахнущих то морем, то розами, то ананасами. А я ведь еще не определил, сколько мне лет.

...Купил я в молочной на Метростроевской немножко масла, сыру, творогу и банку сгущенного молока, а в булочной – батон за рубль сорок копеек. Вчера этот батон, если не по карточкам, стоил сто рублей. Принес все в келью, и мы, повизгивая от восторга, принялись за этот по-настоящему первый послевоенный мирный утренний чай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.